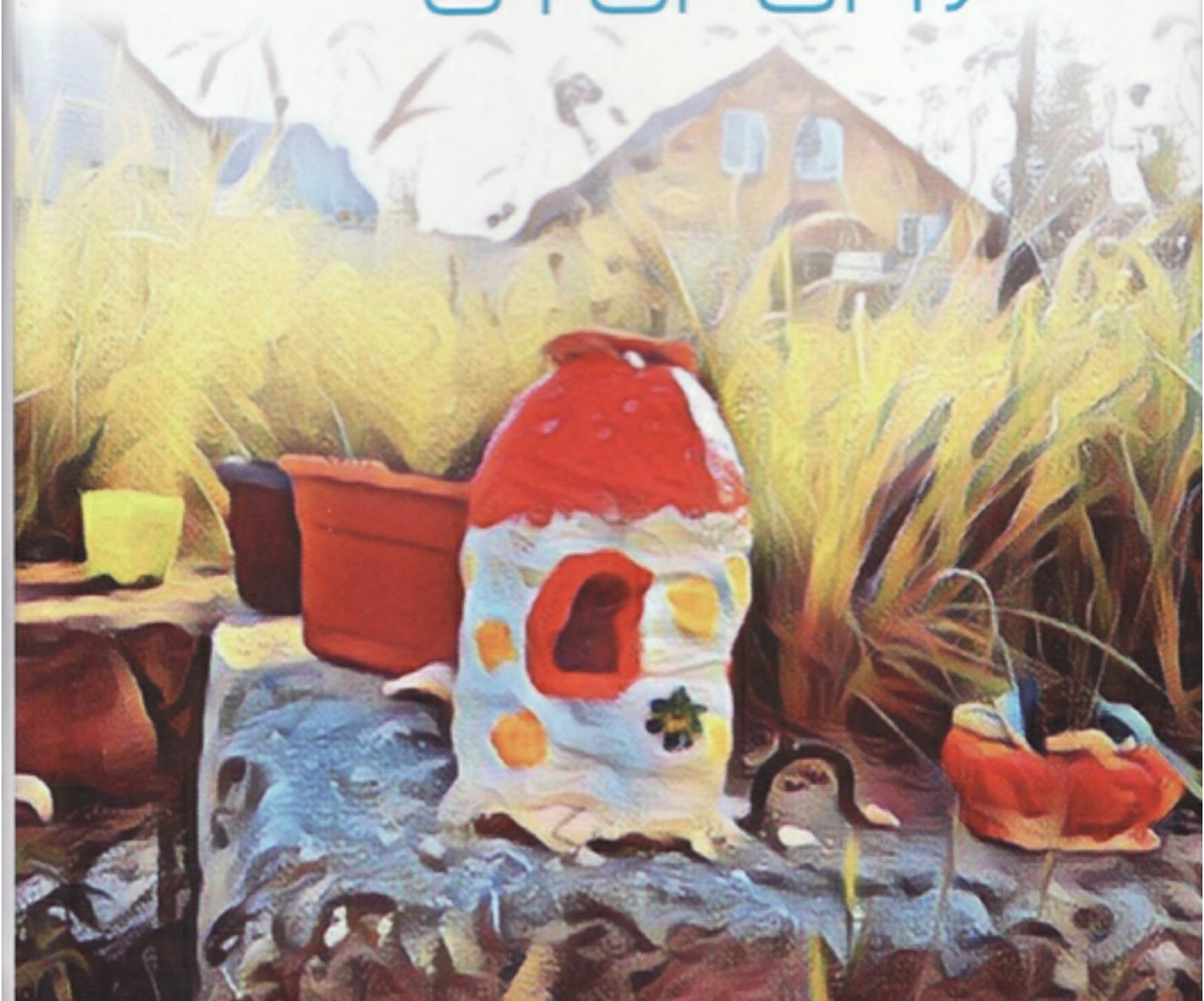


Виктор
НИКИТИН

ЖИЗНЬ
В ДРУГУЮ
СТОРОНУ



Виктор Никитин

**Жизнь в другую
сторону. Сборник**

«ЛитРес: Самиздат»

2017

Никитин В. Н.

Жизнь в другую сторону. Сборник / В. Н. Никитин —
«ЛитРес: Самиздат», 2017

В новую книгу воронежского писателя Виктора Никитина входят повести "Жизнь в другую сторону" и "Никто", рассказы, статьи и эссе разных лет. В них автор представляет своего героя, нашего современника, родившегося в советскую эпоху и остро переживающего изменения, происходящие в обществе. Он размышляет о нравственных и социальных вопросах и часто оказывается перед нелёгким выбором. Содержит нецензурную брань.

Содержание

Жизнь в другую сторону	5
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Жизнь в другую сторону

I

Ближе к вечеру, часам к шести, когда солнце, утомившееся от своей безжалостной работы, уже явственно начало отступать на запад, я позвонил, как и просила Наташа, чтобы уже точно ей знать, приеду я или нет. Сомневаться в том, что я хочу с ними встретиться, не приходилось – почти год не виделись, – но им нужно было подтверждение, как я предполагал, что приду в их квартиру именно я, а не кто-то другой.

Это был одновременно вопрос беспокойства и радости. Радость от общения со знакомым, проверенным человеком, беспокойство – от возможного появления посторонних, как людей, так и мыслей. Стёпа не любил случайностей, хотя и верил в случай. Возможно, он чего-то опасался. Во всяком случае, он был весьма осторожен в отношениях с людьми, а в иных ситуациях так даже и необычайно щепетилен. Я хорошо помнил фразу, вычитанную им у Достоевского, которую он однажды привёл мне с ироничной улыбкой: «Вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого одалживаешь». Однако так было не всегда, и последняя наша встреча не состоялась как раз по причине лёгкой замены деликатности на необъяснимое молчание: он просто неожиданно исчез, уехав, как потом оказалось (выяснилось это уже зимой), вместе с Наташей в Крым; привычная для него поездка, традиция, некий обряд, к которому он относился весьма серьёзно, совершаемый два раза в год, – весной и осенью, никогда летом, потому что летом в Крыму много народу, а он не любил толпы, но любил хоккей и футбол, виды спорта, без толпы не существующие, и именно на футбольный матч мы собирались пойти в выходной, он же и сам мне предложил: давай сходим? И я ждал его звонка, думал о билетах, потом думал, что что-то случилось, и звонил сам в пустую уже квартиру, в то время как он, наверное, подъезжал на поезде к Симферополю, или уже садился там в такси; далее дорога с ветерком до побережья, и вот наконец-то оно, желанное море. В достаточном раздражении мне легко было сообразить, что когда я думал о билетах на футбол, он естественным образом приобретал совсем другие билеты.

Но всё это выяснялось потом, под Новый год, когда я обзванивал знакомых с поздравлениями, совершенно расчётливо пропуская в этом списке Стёпу, потому как справедливо полагал себя обманутым, и от Кости Барометрова, прозванного Стёпой «меся Барометровым», узнавал, что он встретил нашего любителя Крыма на днях в магазине с искусственной ёлкой в руках, и тот сам о Крыме только и говорил, главным же было: «хорошо отдохнули». «От чего? – неожиданно спрашивал меня «меся Барометров». – От чего отдохнули?» Я только усмехался в ответ: принято было считать, что Стёпа нигде не работает.

Он жил так, как ему было удобно, как хотелось. Стало удобно в одно августовское утро позвонить мне, и он позвонил. Не он, разумеется, потому как я не мог за двадцать почти лет нашего общения припомнить более двух-трёх раз, когда он сам это делал, – всегда звонила Наташа, направляемая им, и только потом, если всё оказывалось нормально, к разговору подключался он. Возможно, для него это было ещё одним проявлением деликатности, мне же в этом виделась осторожность, стремление обезопасить себя от малейшей неловкости, какого-либо недопонимания, даже неудачи. Я хорошо себе представлял, как он это делает: говорит Наташе и раз, и два, толкает её в бок, уже и щиплет... Она сама мне об этом рассказывала при нём же: «Как заладил одно и то же: «Позвони да позвони! Позвони да позвони!» Ему оставалось только смущённо улыбаться: ну да, такое дело, у него бы не получилось.

Иногда и подключаться не удавалось, и тогда всё заканчивалось обыкновенным немногословным приглашением, озвученным Наташей, с обязательным добавлением про «него», потому что если даже я не спрашивал: как «он», она всё равно сообщала, что «его нет сейчас

дома», чтобы я не сомневался и не думал, что он на самом деле сидит напротив неё в удобном кресле или на обширном диване, потирая ладони от непонятного мне напряжения.

Но всё же чаще случалось иначе, и после нескольких вступительных слов Наташи, достаточных для того, чтобы понять, что я нахожусь в добром расположении духа, я слышал, как она неожиданно говорила: «Ну вот, он у меня уже трубку из рук рвёт».

Его голос был ещё оживлённее, чем у неё, даже до неправдоподобия; он уже не примеривался ко мне, понимая по её тону, что можно вполне расслабиться. Он подхватывал этот заданный тон, входил в разговор подготовленным, продолжал, бодро принимая эстафету. Несколько ничего не значащих фраз – о чём? разумеется, о погоде! – вольные упражнения на тему Наташи: «да вот сидит, смеётся, а что ей сделается», отводили в удобную сторону, создавали приятственный фон, на который не ложилось никакое, самое мельчайшее пятно неудовольствия; настроение удваивалось и утраивалось, захватывая и меня своей беззаботностью; наконец, поражая меня своей беззаботностью.

Прошедшего времени словно не существовало, неполный год зачёркивался всего лишь одной фразой, сказанной Наташей в самом начале разговора: «Куда вы пропали?» Эта внезапная естественность обезоруживала, отменяла всякие сомнения, развеивала недоумения, и всякий раз, когда подобная ситуация повторялась, и я соглашался с тем, что мне одинаково верно предлагалось, только потом вспоминал, что же оставалось для меня непрояснённым, – время, срок, даты; днём позже, днём раньше, да хотя бы и неделей, но день отъезда в Крым оставался почему-то тайной. Можно было, конечно, понять и так: Стёпа до самого последнего момента не знал, как обстоят дела со снимаемым жильём у их привычных хозяев, и это ожидание сигнала к выезду делало недействительными любые договорённости с кем-то ещё, но я не соглашался лишь с одним – с билетами на поезд; как же с ними-то быть, вспоминал я, сидя в маршрутке; возможному оправданию мешали Оленька и Павлик, в другие, более спокойные и светлые времена придуманные Стёпой для того, чтобы ему с Наташей занять всё купе и ехать без попутчиков; поезд шёл через Харьков, переименованный Стёпой в призрачный город Хрюков, – несколько часов запланированного расписанием простоя, возможность празднично пошататься по улицам, заглянуть в кафе; где-то там, рассказывал Стёпа, варили замечательный кофе; вагона СВ в составе не было, иначе бы они просто обошлись двумя билетами. Да, я уже ехал к ним, потому что в ответ на Наташино: «Ну как?», бодро ответил: «Нормально»; на Оленьку и Павлика, своих несуществующих детей, они запасали необходимые справки, но в вагон мнимая семья садилась неполной: дети неожиданно заболели и оставались дома, счастливые родители могли спокойно отправляться к Чёрному морю, их никто не стеснял. «На следующей остановке», – просил я водителя; Оленька и Павлик скрашивали дорогу, придавали ей почти домашний уют, следующая остановка была Куцыгина, я выходил, дом стоял напротив, второй этаж, поднятые жалюзи на выдвинутых вперёд окнах, свет на кухне. Оленька и Павлик, бормотал я, как же теперь Стёпа обходится без них, с новыми правилами покупки билетов, не может быть, чтобы ничего не придумал, не поверю.

После пристанища художников, сразу под арку вход во двор; запустение укореняется битым кирпичом под ногами, выщербленным асфальтом и какой-то сквозной пустотой умирающей хоккейной коробки. Жизнь теплится только на лавочках, в редких фигурках пенсионеров. Когда-то этот дом считался элитным.

Стёпа, в красной спортивной майке, загорелый, стоит на балконе второго этажа – в зоне перехода от лестницы к квартирам. Щурится, высматривая меня. Я знаю, что домофон не работает, Стёпа предупредил по телефону. Всё тот же настороженный взгляд, переходящий в улыбку. Увидев меня, он спускается, чтобы встретиться, иначе мне не попасть в подъезд. Он это неудобство называет счастьем, своё удовлетворение вкладывая в рукопожатие: «И очень хорошо». Вход на лестницу, таким образом, оказывается заблокированным, можно восполь-

зоваться другой дверью, к лифту, но лифт работает только с третьего этажа, а значит, в такой ситуации, надо подниматься на лифте, потом переходить на лестницу и спускаться на второй этаж. «Не самая сложная комбинация», – замечаю я, на что Стёпа с улыбкой отвечает: «Но может и не получиться». Я так и не спрашиваю его, почему; главное мне понятно: случайному человеку на лестницу попасть невозможно.

«Осторожно, здесь ступенька», – предупреждает Стёпа. Я уже и сам вижу. Холодный и заброшенный подъём лестницы, словно обкусанный порог за порогом неизвестным животным, резко контрастирует с тёплым и благоустроенным, хотя бы за домом, на улице, летним вечером.

Вот и балкон второго этажа, переход к квартирам, но сначала одна дверь, потом тут же другая, за ней, через два метра, ещё одна, уже от жильцов, общая, с четырьмя кнопками звонков; все двери пока что деревянные, замок простой, улучшение бросается в глаза, сразу же появляется ощущение какого-то домашнего тепла. По концам просторного коридора ещё две двери, на этот раз железные, но не самих квартир всё же, не надо так спешить; проходим направо мимо старой стиральной машины и ящика от кофе с пустыми бутылками из-под пива, рядом кучка окурков, шелуха от семечек. Стёпа перехватывает мой взгляд и поясняет с улыбкой: «Нечисть подрастает». У соседей слева есть сын лет двадцати, не учится и не работает, иногда приводит компании, тогда случаются выяснения отношений; шума, впрочем, от них немного, да и за массивной железной дверью Стёпиной квартиры ничего не слышно.

Но и эта дверь ещё не окончательная, Стёпа возится с ключами, замок сложный, тянет её на себя, открывая доступ в ухоженный тамбур, молча показывает мне рукой «прошу»; внутри свежие обои на стенах, гляцевый японский календарь с видом на Фудзияму, прямо передо мной дверь соседской квартиры, налево дверь квартиры Стёпы и Наташи; без перемен тут тоже не обошлось. Стёпа с довольным вздохом рассказывает, во сколько ему встала эта чудо-дверь – самое последнее слово техники против взлома. Ему доставляет удовольствие перечислять реальные преимущества этой двери: у неё нет наружных петель, она запирается на несколько засовов-ригелей, её нельзя разжать домкратом. . . Ну а больше всего ему нравится выражение «дополнительный ригель». Он употребляет его несколько раз во множественном числе, как окончательное доказательство безопасности.

Далее следует неожиданная просьба: «Ты не мог бы выйти?» Обратно, разумеется. Больше некуда. Наверное, потому, что тесно вдвоём? Но зачем? У него смущённый вид. Странно, конечно, но я выхожу. Снова возня с ключами. Я вижу только широкую спину. Спина обозначает какие-то сложные движения руками. Кажется, один засов, теперь другой. Облегчение наступает, когда Стёпа оборачивается и говорит: «Можно входить». Его лицо как будто освободилось от чего-то, посветлело. Строгая, внушительная дверь выехала мне навстречу, словно открылась страница толстой и редкой книги, тяжёлого фолианта, видеть который прежде доводилось немногим счастливицам. Всё выглядело очень основательно, функционально; весомая зримость предметного мира, организованного в крепостные ворота, подавляла. Дверь была явно значительнее меня во всех отношениях. С ней придётся подружиться, подумал я, чтобы не вляпаться в какую-нибудь историю. Такая дверь не предаст своего хозяина. Она как собака, сторожевой, цепной пёс по кличке Верный. Но что это? Я вижу перед собой решётку, слышу запоздалый голос Стёпы: «Не удивляйся», за однообразными ромбами стального рисунка меня ждёт улыбка. Сразу широкая улыбка Наташи, её раскрытые мне навстречу объятия, – готовность удивительная, как-то согласованная с моментом и опущенной вниз головой Стёпы; его взгляд что-то изучает на полочке перед дверью. Впрочем, створки решётки легко распахиваются толчком Наташиной руки; на одной из створок понуро блестит маленький навесной замок.

Заходить надо быстро. «Наконец-то! – восклицает Наташа и обнимает меня. – Совсем нас забыл!» Стёпа продолжает что-то делать за моей спиной, он говорит Наташе: «Я сей-

час»; звук плотно закрываемой двери обеспечивает нашу встречу необходимой для этого места герметичностью. Я оборачиваюсь: секундное замешательство на лице Стёпы отражается его редким по удалённости отсутствием. Да, он сейчас далеко отсюда и думает о чём-то постороннем. Тень какой-то тайны промелькнула лишь на миг и исчезла бесследно; он уже очнулся, он здесь, с нами; две поперечные складки у переносицы разгладились и освободили простор загорелого лба, белёсый ёжик коротких волос дёрнулся вслед за мускулами тщательно выделанного природой лица. Стёпа улыбнулся, вслед за ним и я, мы все втроём чему-то улыбнулись. Кажется, тайны закончились. Я наклонился, чтобы снять обувь, и вдруг понял, что становлюсь весьма осторожным, стараясь не делать лишнего шага вперёд, – в лакированный паркет передо мной впечатаны в длину три рейки, выдающиеся над полом на полпальца и расположенные друг к другу под небольшим углом. Урок прошлого визита не прошёл для меня даром. Оказывается, за эти несколько месяцев я не забыл, как меня оставили сразу же у двери перед этими рейками, не дав мне их перешагнуть в обуви. Я их даже сперва и не заметил. Мягко, но настойчиво, как необученному ребёнку, Наташа сказала мне, указывая рукой: «Вот здесь и разуйся».

Рейки эти явно что-то значили, для чего-то они были тут прикреплены. Даже по цвету они отличались от пола, были светлее. Их приклеивали или прибивали, но не для того же, чтобы об них спотыкаться?

Стёпа находился уже рядом с Наташей и терпеливо наблюдал за тем, как я пытаюсь справиться со шнурками; мои туфли почти упирались в крепостную стену, которая ограничивала мои передвижения как гостя. Мне даже показалось, что Стёпа стоял с Наташей рядом на тот случай, если бы я вдруг ослушавшись, проявив невниманье и неуважение, перешагнул эту преграду. Скорее всего, это нелепая мысль: о применении силы. Помню, что я ещё в прошлый раз хотел спросить их, для чего эти рейки нужны, но как-то не решился. Не спросил и теперь. На мой неискушённый взгляд пол, что до этой великой загадочной стены, что после неё, был совершенно одинаков.

Тайны оборачивались правилами, оказывались неразрывно связанными друг с другом. Надо было следовать этим правилам, постоянно помнить о них, если уж ты каким-то образом оказывался в этой квартире.

Нашему общему знакомому Петру Недорогину и его жене довелось побывать в гостях у Стёпы с Наташей, судя по всему, по какой-то душевной слабости или даже глупости хозяев, которую иногда ещё называют расслабленностью, – просто случайно встретились на улице, посидели в кафе, увлеклись разговором и при обязательной в таких случаях поддержке спиртного, переместились на дом. Возможно, надо было показать достижения, какие имелись на то время. Почему бы нет? Пётр несколько раз приглашал их к себе – и на квартиру, и на дачу, – демонстрировал жизненный достаток, вполне естественно ожидая ответного приглашения, и вот случай представился, а то ведь можно было уже и задуматься, что это за люди такие, которые сами в гости ходят охотно, но к себе не приглашают. По этому поводу у Стёпы если и возникало какое-то чувство неловкости, то за внешнее оформление почти всех отношений, кроме, разумеется, деловых, ответ держала Наташа, и делала она это с неподражаемой искренностью, постоянно уверяя, что она-де «готова в любую минуту», «всем сердцем открыта», да только, к сожалению, не от неё это зависит: «Как хозяин скажет».

Это самое слово «хозяин» произносилось ею уже на выдохе с лёгкой грустинкой, с такой уважительной и вместе с тем ироничной интонацией, что любые намёки на необщительность или, того хуже, какую-то неясную выгоду, даже скупость, просто отпадали, становились невозможными.

Подробностей того вечера известно мало. Вернее, известна всего одна подробность, зато самая главная: по всей видимости находясь уже в изрядном подпитии, сидя за небольшим столом на кухне, заставленном тарелками и стаканами (в продолжение хватило всего

лишь бутылки шампанского), Пётр в подтверждение какой-то своей объединительной мысли, воодушевлённый приятным общением, как взмахнул рукой, так и разбил вдребезги один хрустальный фужер из имевшихся шести.

Ему этой добросердечной жестикоуляции не простили. И хотя Наташа, и Стёпа, каждый по-своему рассказывая мне об этом случае с одинаковым смехом, приглашали меня больше поудивляться: «Ка-ак размахнулся!..», тем не менее, для Петра Недорогина это посещение их квартиры оказалось первым и последним. Единственная оплошность решила всё: больше его уже никогда не приглашали. Сам Пётр про разбитый фужер мне ничего не говорил, очевидно, считая этот эпизод совершенно обыденным, – у себя дома ему случалось разбивать рюмку или бокал, за ним даже знали такую особенность. Я лично помню одно застолье, когда он с грохотом рассадил большое блюдо, предназначенное для рождественского гуся. И никто ему за это не попенял, даже жена. Естественным образом предполагалось, что ни Стёпа, ни Наташа, ни при каких обстоятельствах ничего разбить не могут.

Как бы там ни было, Пётр в разговоре со мной иной раз жаловался: к нему в гости Соболевы ходят, а к себе не приглашают. Раз в год, не больше, Стёпа с Наташей продолжали посещать его, – наверное, чтобы оставаться в курсе событий, узнавать какие-то новости из жизни общих знакомых; наконец, было просто удобно увидеть всех сразу, собранных вместе, вживую, не по слухам, чтобы подвести некоторые предварительные итоги, убедиться, кто в каком направлении развивается, – для них это было важно.

Моя жена считала, что им эти редкие встречи («вылазки», как она выражалась), нужны лишь для того, чтобы убедиться в собственной состоятельности; я же, так как виделся со всеми чаще, будучи потом приглашённым к Соболевым домой, невольно оказывался в роли поставщика сплетен. «Ты им только для того и нужен, чтобы восполнить пробелы в знаниях между их выходами в люди».

Я так не думал, искренне полагая, что нас связывает нечто большее, – как-никак, со Стёпой вместе мы учились в университете, и спустя годы продолжали тесно общаться. Правда, последнее время реже встречались, но так на это существовали естественные причины. «Какие?» – спрашивала меня жена. Обыкновенные, жизненные, отвечал я, каждый занят своим делом. «Вот именно, – замечала она, – делом». Возможно, сравнения напрашивались, однако я считал её иронию неуместной.

Стена с помощью предупредительных хозяев благополучно преодолена. Я выпрямляюсь. Можно перевести дух. Но не тут-то было. Наташа продолжает подсказывать мне, что делать дальше: «Туфельки ставим сюда, теперь моем ручки...»

Забота о ребёнке, которому идёт уже четвертый десяток, а он никак не научится себя вести. Кажется, что она не говорит, а поёт. Это её обычная манера. В самый первый раз, когда она оказалась у нас дома, наша шестилетняя дочь Алина простодушно спросила у жены: «Мам, а тётя Наташа цыганка?» Жена засмеялась и покачала головой, изображая щедрую на слова гостью: «Ай, ла-лы, ла-лы, ла-лы!»

Я послушен. Не будем капризничать и надувать губки. Мне выдают тапки – двух мягких и пушистых белоснежных котят, скользнувших прямо под ноги.

– Опять один? – с недоумением и даже досадой спрашивает Наташа. – Почему же Лена к нам не приходит? – И добавляет с притворной сердитой гримаской: – Передай ей: я обижусь!

Они не виделись уже два года, только слышали иногда друг друга по телефону; причём Лена никогда ей не звонила сама. Выходило как обычно: я брал трубку и слышал приподнятый, вдруг выскочивший из-за угла голос Наташи: «Привет! Куда вы пропали?» Темнота одного и того же вопроса, повторяющегося каждый раз, была заполнена ещё какими-то звуками, воспроизводящими дыхание жизни: форточкой на кухне, открытой в уличный шум, пущенной из крана струёй воды, деловито сдвинутой на плите кастрюлей, и оборачивалось

так, что это совсем не они, а мы какие-то нелепые затворники, которых можно и нужно потревожить хотя бы раз в год. Поначалу мы этому удивлялись, а потом перестали. И всегда мне приходилось отвечать как бы спросонья, несколько устало, вполне равнодушно, подыгрывая ей по привычной слабости: «Да куда мы не пропали...» Фраза растягивалась мною в подтверждение её, Наташи, невероятной общительности и жизнерадостности, и соответственно выдавала во мне угрюмого нелюдима с пасмурным характером. Меня это забавляло. Но, кажется, только меня одного. Наташа либо действительно не замечала моей мнимой оправдательной интонации, либо не хотела вникать в подобные тонкости. Она торопилась поведать мне, что готовит ужин, «дружочку твоему ненаглядному» – прибавляла она таким не допускающим никаких сомнений солнечным голосом, что только оставалось соглашаться на дальнейшее: «он уже придёт скоро, а вы к нам случайно не собираетесь? я и пирогов напекла...» Покуда я соображал, как на всё это отвечать, она освобождала меня от бессвязного лепета, делая выбор в пользу нормального женского участия: «Лена там далеко?»

Лена там была и тут. Долго звать её не приходилось, она ещё охотно брала трубку и подключалась к привычному занятию двух кумушек, роющих ходы навстречу друг другу в огромном и сладком яблоке сплетен.

Ай, ла-лы, ла-лы, ла-лы!

Где-то через час я начинал беспокоиться, что так они действительно доберутся до сердцевины и всем нам останется ни на что не пригодный огрызок. К тому же там появлялся наконец-то Стёпа и уже интересовался у Наташи, где тут Валера, то есть я. «Ну задёргал меня совсем», – признавалась она Лене и временно отступалась от сладкого, совсем не запретного плода. Мне хватало всего двух слов, чтобы привести разговор в соответствие: «Сейчас приедем». Тогда мы ещё не вросли по уши в ту непроходимую чащу, которая потом стала называться повседневной чередой обязанностей. Ещё сохранялась какая-то бесшабашная радость жизни, которой можно было легко поделиться. Не было усталости отношений, их неожиданно всплывающей заурядной и унылой повторяемости. Мы продолжали жить без возраста – словно договорились однажды об удачном продлении пожизненного кредита. Мы не замечали его, по-прежнему оставаясь в том равном для всех состоянии счастливой одинаковости чувств и положений. Мы всё ещё продолжали приобретать, но не терять. Мы развивались внутри по одному и тому же принципу, не предполагая, что сначала окажемся разделены внешне, а потом – и по всем остальным показателям.

С Леной случилась совсем простая история – женская, бытовая. В гости мы пришли вдвоём. Замков было меньше, дверей тоже. Непонятного происхождения реек, образующих загадочную фигуру, тогда ещё не наблюдалось, а потому никаких сложных ритуалов в коридоре не проводилось.

Стояло нормальное в своих претензиях на погоду лето – сухое, не жаркое. С одеждой заминок не состоялось: «давайте-ка сюда шубу, пальто, шапку, сапоги, вот ещё шапка», – ничего этого не было, а потому сразу же прошли на кухню, именно туда пригласила нас Наташа. Она заканчивала тушить овощи – по её словам, любимое блюдо Стёпы. Дальше наши пути странным образом разошлись. Лена так и застряла там, но не на кухне, а вернувшись на два шага назад, у туалета, – в приоткрытую дверь довольно узкого заведения с кухни проникал шланг, который уверенно тянулся к закреплённой на стене стиральной машине – весьма внушительных размеров агрегату, отнявшему пространство у человека.

Наташа «некстати» затеяла стирку, она сама так сказала, и, конечно же, извинилась за это, но, добавила она, «не я в этом виновата, вы же знаете, как у нас с водой обстоит дело». Да, конечно, согласилась Лена. Ничего страшного, решила за неё Наташа и, широко улыбаясь, обратилась ко мне: вы с «хозяином» пока в зале посидите, а мы тут наши дела обсудим.

На том и разошлись в ожидании скорой встречи. Лена даже помахала мне рукой.

Каждый на своей стороне, мы вольготно сидели на диване, составленном уголком, неспешно пили чай и поглядывали в телевизор, перебрасываясь словами. Пела Анита Цой. Я вдруг подумал, что десять лет назад точно так же сидел в гостях у Стёпы, но тогда на экране был Виктор Цой. Остальное, кажется, не изменилось. Всё тот же небольшой стеклянный столик, заставленный изящной чайной посудой, конфеты в вазочке, обычно «Белочка» или «Красная шапочка», зефир; специальным предложением от Наташи – в розетке немного варенья; на самом деле, от соседки, «хорошей женщины», которое непременно надо было отведать, клубничное или вишнёвое, а для Стёпы – отдельно, как знатоку и любителю, ещё и мёд. Впрочем, мёд иногда предлагался и мне, но мне и так было сладко, а знатным любителем я себя не считал.

Стёпа же отменно разбирался в чае – как в чёрном, так и в зелёном. Обычной картонной упаковки из стандартного торгового ряда, набитой мелкой трухой непонятного происхождения, он не признавал, а тем более безликих, ограниченных рабскими верёвочками пакетиков, – всё это он считал заурядным мусором. Кухню украшала специальная полка, предназначенная исключительно для достойных, по версии Стёпы, сортов чая. Все они были заключены в железные банки или деревянные ларцы, расписанные по-восточному ярко, как ковры, и даже могли принимать форму слона, дракона или Будды.

Вся эта экзотика выглядела впечатляюще. Так и слышались крики обезьян, трубный глас слонов, удивлённый ропот попугаев – тысячи тысяч различных организмов, составляющих непрерывный гул джунглей. Однако шуршание и посвист с поскрипыванием исходили от щегла в клетке по соседству – как прообраз вечного двигателя, насыщающего воздух какими-то беспорядочными звуками. Казалось, что птичка обеспокоена опасным соседством.

Всё, что теснилось на полке драгоценным весом, уже только одними названиями уведомляло о серьёзности предстоящей церемонии. Один сорт чая прозрачно именовался «Лунной ночью душевного равновесия», что уже подразумевало обещание и исполнение какой-то невиданной прежде безмятежности. Другой энергично потрясал «Восточным ветром, подувающим с моря». Третий мог одарить пересохшее горло густым, удушливым ароматом «Прощального взгляда тысячерукой обезьяны».

В тот раз Стёпа остановил свой выбор на «Волшебном полёте воина над долиной лотоса». Понятное дело: у прикоснувшегося к чашке с таким чаем должно было захватывать дух. Так и происходило: вкус непомерно тяжёлой роскоши на моём языке мешался с поиском ускользающей утончённости. Стёпа спросил меня:

– Ну как впечатление?

Он зажмурился на длительную паузу, словно набирая воображаемую высоту, закрывал глаза, чтобы остаться наедине с обрётённым наслаждением. Доверяя его ощущениям, я соглашался разделить его удовольствие, хотя дома, экономии времени ради, пользовался исключительно чайными пакетиками, в чём, разумеется, Стёпе никогда бы не признался.

– Любопытный вкус.

Пауза у Стёпы затягивалась. Он сидел спиной к окну, забранному решёткой, за которым тянулся выступ крыши нижнего магазина, своего рода козырёк для жильцов от одного подъезда до другого, заваленный всяким ненужным хламом. Телевизор уже показывал испанский футбол. Стёпа продолжал внутри себя разбираться в оттенках чая, сзади него топорщилась отвергнутая кем-то телогрейка, стояла пустая банка из-под краски с присохшей к ней газетой и кистью, валялись половинки красного кирпича, сбитый ботинок, офицерская фуражка, выношенная до неузнаваемости, пустые бутылки и сопутствующие им окурки, а справа от меня, на стадионе «Ноу Камп», болельщики радостно отмечали второй гол «Барселоны», забитый в ворота мадридского «Реала». Всё это выглядело как-то странно. Но Стёпу, похоже, такое соседство нисколько не смущало. Я вдруг вспомнил сказанные им однажды слова:

«Мы ещё застанем то время, когда будем жить на свалке. Все без исключения. Поскольку деться будет некуда». Он, конечно, тогда имел в виду нечто другое. Я же, с удивлением отметив, что это время наступило так скоро, решил поинтересоваться:

– Как там Лена с Наташей? А то мы про них что-то забыли...

Стёпа, сделав очередной драгоценный глоток, выдохнул:

– Пусть поболтают...

Сказано это мне было как бы в утешение, чтобы я понапрасну не беспокоился. Он даже успел поморщиться с некоторой иронией, но, возможно, дело ещё тут было в продлённых свойствах чая.

– Женщины от разговоров глупеют.

Наверное, он всё же хотел сказать, что в результате они становятся добрыми. Так это или нет, мне пришлось узнать довольно скоро, когда другие свойства чая заставили меня подняться с дивана и направиться в туалет.

Глаза Лены – вот на что я сразу обратил внимание. В них влажно отражалась просьба о помощи. Прошло уже больше часа, а она так и не сдвинулась с того места, которое ей определила Наташа, – между кухней и туалетом. Вид у неё был растерянный. Я понимал, что она мучается, но не понимал из-за чего. Объяснение пришло позже, уже дома, когда мы вернулись. Заметить то же самое Наташе мешала её увлечённость сразу двумя делами: разговором, на который Лене оставалось только согласно кивать головой, и затянувшейся стиркой, каким-то образом связанной ещё и с готовкой на кухне.

Я что-то такое спросил пустое, вроде «стоите?», чтобы самому же потесниться. Ответа не требовалось. Лена слабо мне улыбнулась; она выглядела бледнее обычного. Дверь в туалет закрыть до конца не удалось, – мешал злополучный шланг. Справиться с возникшей неловкостью помог равномерный шум стиральной машины: она непрерывно вращала бельё прямо перед моим носом. Сзади слышался уверенный голос Наташи, говорящей всё об одном и том же: «а она», «а он», «а они», да «почему они не могут».

Последняя фраза звучала вопросом и относилась уже не к нашим общим знакомым, а к устройству жизни вообще.

Эта была такая имитация озабоченности, обращённая куда-то наверх, к тем, кто должен отвечать за горячую воду и свет в квартирах, за отопление и нормальные дороги в городе, и одновременно к нам, как к союзникам, товарищам по несчастью, понимающим предмет разговора. Иной раз выходило с большим чувством, тревожно, но всё равно касалось исключительно бытовой неустроенности, только на ней и замыкалось, хотя мы никак не могли себе представить, – чего бы ей так волноваться при её обеспеченности и возможностях Стёпы. Это скорее всего нам подошло бы поднимать глаза кверху и восклицать: «Почему они не могут?», но у нас таких вопросов даже не возникало, потому что мы были твёрдо убеждены в том, что «они не могут».

Наташа как раз заканчивала свою очередную тираду: «Ну почему они не могут обеспечить?» Лена только успевала промямлить «да-да» в ответ, соглашаясь с тем, что мы наравне с Соболевыми терпим неудобства – хотя бы в одном этом наравне.

Внезапно резко зазвонил телефон: в два звонка – обычным и музыкальным. Послышался голос Стёпы: «Наташа, возьми трубку!» Она успевала многое: сказать Лене – «подожди секундочку», напомнить мне – «ручки помой обязательно, сейчас заразы разной знаешь сколько!», взять музыкальную трубку с кухонного стола, пустить воду в мойку и, начав разговор с какой-то подружкой, ещё раз весело кивнуть мне в направлении ванной.

Мы с Леной не успели даже словом перемолвиться. Всё те же белоснежные котятки на ногах приветливо пискнули и потащили меня мыть руки; иного было не дано: не отнимая трубки от уха, Наташа провожала меня внимательным взглядом.

Лена потом сказала мне, что она прождала не одну тысячу секунд, прежде чем Наташа закончила свою болтовню по телефону. Дальше её ждало ещё одно испытание: стоять рядом с Наташей и смотреть за тем, как она моет посуду. Наташа сама предложила: «Ничего, если я тут немного...» Разумеется, ничего, согласилась Лена, ничего хорошего, в итоге. Если только не внушить себе, что был свидетелем захватывающего зрелища.

– Весь вечер простояла у двери туалета! – никак не могла успокоиться моя жена. – Вот это называется «сходить в гости»!

Я попытался ей возразить:

– Ты явно преувеличиваешь.

– Ну понятно!.. – не сдавалась она. – Ты так увлёкся беседой со Стёпой, что даже не заметил моего отсутствия. Я-то ведь, между прочим, в комнату к вам так и не попала!

– Разве? – удивился я. Действительно, я помнил только, как отправился мыть руки, потом, как вернулся в комнату, сел на диван... мы разговаривали со Стёпой, смотрели телевизор... чая я уже больше не пил... и всё на этом, дальше – только прощание в коридоре... Она права. Вот как!

– Ну подожди... – спохватился я. – Я же слышал ваш смех... Я слышал, как ты смеялась!

– Да уж пришлось изображать... Знаешь, так было весело!

– Я подумал, что вам друг с другом так интересно, что вы про нас со Стёпой забыли.

– Bravo! – Лена захлопала в ладоши. – Ты-то хоть в туалет ходил, а у меня вот не получилось.

– Что за ерунда... – поморщился я.

– Наташа мне как раз поведала историю про мастера, который на прошлой неделе к ним ремонт приходил делать, – он часа два работал, на кухне возился, а когда закончил и попросил разрешение посетить туалет, то Стёпа ему отказал. Представляешь?

– Ну-у, не знаю даже... Мне Стёпа тоже самое рассказал.

– Она с какой-то непонятной мне гордостью об этом рассказывала, – продолжила Лена, – мол, какой Стёпа у неё молодец, с характером...

– Да, глаза у него блестели. С воодушевлением говорил, даже с напором, – заметил я. – Странно всё это...

– Грязь не разрешил разводить. Туалет – это ведь такое личное, интимное место. Как же туда человека с улицы так запросто можно пустить?

– Подожди, а руки этому мастеру разрешили помыть?

– Не знаю... Мне это всё так противно...

– Я всё же думаю, что к тебе её слова не относились.

– Знаешь, после таких откровений я уже не осмелилась бы... Это мне ведь как предупреждение прозвучало.

Её уже нельзя было остановить. Она вспомнила ещё один случай, уже в «настоящих», как она выразилась, гостях, когда мы были у Петра Недорогина; снова был туалет, который не закрывался, но совсем по другой причине, – сломана задвижка. Хозяина дома, по всей видимости, это нисколько не занимало. Всякий раз, когда нам выпадало бывать у Недорогих, нам приходилось убеждать в том, что положение с дверью не меняется. Им это было просто не нужно. Скорее всего, они не замечали такой мелочи. Недорогины вообще слыли людьми свободных нравов, не обременёнными условностями.

Тем не менее, чтобы не вышло какого казуса, Лена с Наташей договорились так: сначала Наташа зайдёт, а Лена снаружи подежурит, затем они поменяются местами. Лена добросовестно отстояла своё в коридоре; ей, впрочем, не пришлось никого останавливать на пороге. Когда же пришёл черёд Наташи, тут-то и случилась самая большая неловкость, какую только можно было придумать. Лена оказалась оставленной без присмотра, беззащит-

ной перед вторжением пьяненького «месье Барометрова», – как-никак три часа уже вплотную веселились, нужда заставила. Он открыл дверь и увидел её всю, как не надо, чем ввёл в смущение. Сам очень удивился, сказал: «Пардон!» и тут же отпрянул. Очень галантно вышло, рассказывала мне жена. Раньше я слышал от неё эту историю в более забавном ключе, теперь она обрастала новыми подробностями, – оплошность оборачивалась драмой.

– Ну да, он такой, – некстати усмехнулся я; моё замечание не осталось без внимания и чуть позже получило свою оценку.

Когда Лена вышла в коридор, Наташу там она не обнаружила. Настроение было безнадежно испорчено. Она нашла её за углом, у зеркала. Лена спросила: «Куда ты подевалась?» – и рассказала о том, что с ней приключилось. Её потерянный вид что-то внушил Наташе. Отражение в зеркале дрогнуло, показало непритворный ужас, дополненный словами: «Да ты что?!» Переживания по поводу случившегося усилили причитания: «Надо же! Я ведь только на минуточку одну отлучилась, – губы подкрасить! И вот что вышло, а? Ну извини, дружок ты мой милый! Как же это?..»

Ай, ла-лы, ла-лы, ла-лы!..

– У неё вечно, то секундочка, то минуточка. Как ей можно довериться? – спрашивала уже не меня, а кого-то ещё жена.

– Вы же подруги, – сказал я, пытаюсь всё обратить в более благожелательное русло.

– Подруги? – удивилась она. – Какие же мы подруги? Что у нас общего?

Я попытался набором случайных слов вывести какую-то формулу общения, пригодную для использования, но потерпел неудачу. Мне тоже досталось – как ещё одному «месье».

Лена вдруг заявила мне:

– А ведь Стёпа тебя, наверное, тоже «месье» называет, когда говорит о тебе с кем-то. – Она усмехнулась: – «Месье Кириллов».

Я понимал, что она меня дразнит, и потому старался отвечать как можно более неприступно.

– Даже если это и так, то что тут обидного? Я никакой насмешки в этом не вижу. Да и вряд ли. Какой я месье? Скорее уж сам Стёпа является «месье». А я на «месье» никак не заработал.

– Да нет, всё верно, – поправила меня она. – Ты как раз и есть «месье», потому что у тебя ничего нет.

Честно говоря, я не обиделся, – всё равно обиженной выглядела Лена. Для неё я был просто мишенью, которая подходит для успокоения нервов. Про Наташу ещё многое было сказано, главным же было то, что на неё никак нельзя положиться, и завершал её сложившийся образ последний штрих, объясняющий уже всё до конца даже и самому непонятливому.

Туфли, в которых Лена пришла к Соболевым, чтобы так бездарно простоять у туалета, её старые туфли, которые неизвестно сколько лет тому назад были куплены, привлекли вдруг внимание Наташи, когда мы собрались уходить; впрочем, и не вдруг, потому что в каждый наш приход к нам, когда Лене случалось надеть эти туфли, Наташа непременно замечала: «А что-то я у тебя этих туфелек раньше не видела? Какие замечательные! Купила недавно?» – как бы простодушно спрашивала она, восхищалась так непомерно, так фальшиво, что уже и не по себе становилось, и непонятно было, как ко всему этому относиться.

Лена словно проваливалась в безвозвратную пустоту, которую никакими отношениями нельзя было отменить. Проходил год, и два, и три, а туфли никак не становились новыми, в этом отчасти был виноват и я; новыми их каждый раз делала Наташа по одной ей ведомой причине. Немыслимо было даже предположить, что никакой причины нет. Лена могла это объяснить либо самым изощрённым коварством, либо полным безразличием. На что-то другое её уже не хватало. Её подозрительность грозила увеличиться до размеров земного

шара. Словно её хотели заставить постоянно оглядываться. Она уже ни в чём и ни в ком не была уверена: и всё, всё, всё, всё – больше она к Наташе ни ногой!

Так я стал бывать у Соболевых один. Лена, в ответ на их приглашения, продолжала успешно отнекиваться по телефону, ссылаясь то на недомогание, то на занятость с дочкой, – все возможные встречи она уверенно переносила на неопределённое будущее, пользуясь Наташиной же фразой, которую та частенько употребляла, – «не будем загадывать». Похоже на то, что Наташу на какое-то время это успокаивало, и иронии Лены она вовсе не замечала.

Менее года прошло, как среди и так немногочисленных гостей Соболевых случилась ещё одна потеря. На этот раз пострадала чета Барометровых, оставшись, правда, в полном неведении относительно того, почему их перестали приглашать.

А произошло вот что: Катя, жена Кости Барометрова, неудачно села на диван. Разумеется, в самом этом факте не содержалось бы никакого преступления, если бы не одно обстоятельство; по существу, мелочь, как ни посмотреть, но только не для Наташи.

Она и села-то на самый краешек дивана, боком, старательно натягивая на свои длинные ноги короткую юбку, но села не в том месте, в каком следовало бы, не к уже накрытому столику, а почти в углу, совсем близко к экрану телевизора, потянувшись ещё, случайно должно быть, к маленькой подушке, из-под которой и вытянула старую тряпичную игрушку – злополучного слонёнка без хобота с грустными глазами. Взяв его за ухо, отчего слонёнок стал выглядеть совсем уж беспомощным, Катя спросила с улыбкой: «А это что такое?»

Всё это вдруг оказалось необычайно важным. Подоспевшая Наташа ничего ей не ответила и вообще повела себя странно: неожиданно выхватила игрушку из рук Кати и вышла из комнаты. Это произошло так стремительно, что я толком ничего не успел сообразить. Катя, впрочем, в замешательстве пребывала недолго, она только изобразила игриво надутыми губами мне, как единственному свидетелю что-то на тему «вот ещё как бывает» и пододвинулась к столику, взявшись за недопитый бокал вина с таким беспечным выражением лица, что мне всё это должно было показаться сном.

Стёпа и Костя Барометров, кажется, так и вовсе ничего не заметили, потому как стояли у книжной полки и были поглощены изучением какого-то альбома по искусству. Выручил и работавший телевизор: его звук отвлекал и помог рассеять неловкость.

Наташа вернулась, как ни в чём не бывало, уже с коробкой конфет и ещё одной чашкой для чая. Тоже взялась за бокал и даже произнесла тост: «Давайте выпьем за...» За что-то мы, конечно же, выпили и даже пожелали друг другу самого хорошего, но Костя и Катя Барометровы больше не переступали порог квартиры Соболевых. Вполне возможно, что причиной тут было что-то другое или даже совсем никакой причины не было, однако результаты этого вечера говорили сами за себя. Тем не менее, Стёпа и Наташа в гостях у «месье Барометрова» хотя бы раз в год, на день его рождения, обязательно бывали. Во многих отношениях Костя казался человеком снисходительным, большого значения пустякам он не придавал.

И вот я сижу на том самом диване, сижу как обычно, как всегда садился, когда приходил к Соболевым в гости. Вероятно, на одном и том же месте, выделенном для меня привычкой садиться к столу, ни на сколько-нибудь левее или правее, – никогда об этом не задумывался.

Передо мной стоят Стёпа и Наташа. В комнате больше света, чем в коридоре, – теперь я могу их лучше разглядеть.

Несмываемый загар их лиц выглядит слишком радостным, словно они основательно подготовились к какому-то смотрю, где будут выставляться оценки. Этот загар с весны, крымский, на него удачным продолжением ляжет осенний, в «бархатный сезон», – так будет и в следующем году, а потом ещё и ещё. Уже в коридоре Стёпа успел мне сообщить: «Собираемся ехать». Не загадывая, конечно. Я и вижу их теперь либо до отъезда в Крым, либо после их возвращения оттуда. Эта пара, несомненно, заслужила самых высоких баллов.

Несмотря на свой загар, он всё же светлее, просто краснее, она совсем тёмная; вместе они – ян и инь. У меня жена бледная, ей загорать нельзя, кожа такая. Мне можно, но как-то не получается. Мы – бледнолицые. Краснота кожи у Стёпы какая-то бархатная, словно его усиленно растирали махровым полотенцем. Я вижу, как ему нравится себя демонстрировать. Я тоже почему-то доволен, словно мне довелось воочию лицезреть олимпийских чемпионов по отдыху – новой дисциплине, включённой в программу состязаний. Парад прерывается неожиданным сигналом с кухни: вскипевший чайник выдает пронзительное соло на скрипке, и Наташа поспешно выходит.

Мы молчим некоторое время, глядя в телевизор, где какой-то музыкальный канал показывает клипы. Потом Стёпа берётся за пульт и переключает картинку.

– Нет, вся эта музыка – всего лишь обслуживание гениталий.

Стёпа кривится. Он почти всегда начинает разговор с отрицания. Это у него такая форма общения. Как некоторые люди начинают с «да, а вот ещё был случай», он непременно выступает с «нет», словно возвращаясь к прерванному разговору или продолжая спор, но только с самим собой.

Я молчу, а если бы мне захотелось что-то заметить по этому поводу, то я бы не успел. Новая картинка – реклама: «Это средство эффективно помогает от разных паразитов». Стёпа вздыхает с улыбкой:

– Как от вас паразитов избавиться.

Следующий канал – спортивный. Это примиряет нас с беспощадной политикой телевидения.

Стёпа интересуется, как у меня обстоят дела на работе. Я как раз недавно устроился в одну компьютерную фирму, а прежде был учителем математики в школе.

Любое проявление социальности у Стёпы вызывало стойкое неприятие, он её отвергал начисто, как разлагающее индивидуальность явление: «Как это я кому-то должен отдать себя в пользование? Чтобы мною распоряжались?» Наверное, поэтому ему было интересно, как существуют в социуме другие. Раньше мы с ним по этому поводу частенько спорили: я никак не мог понять, как я буду жить, если не буду работать, – где я возьму деньги? Надо просто быть умным человеком, отвечал он. Да, это очень просто, соглашался я. Моя ирония касалась действительного положения вещей, которое позволяло ему поучать других. Если мне на богатое наследство рассчитывать не приходилось, то он его, по сути дела, уже имел в виде сдаваемых в аренду помещений, оставшихся после развала той самой организации, где мы, будучи молодыми специалистами, прежде вместе работали. Новые времена позволили ему в полной мере воспользоваться должностью своего отца, бывшего начальника всего этого безобразия, вовремя передавшего сыну права на солидные доходы и ушедшего на заслуженный отдых от греха подальше. Конечно, они были умными людьми. Другими умными людьми являлись так называемые «люди из Москвы», о которых иногда заходила речь в доме Соболевых. В большинстве случаев вспоминала о них по разным поводам Наташа. Она не скрывала своего безграничного восхищения перед ними. Они были умными уже хотя бы потому, что жили в Москве. Два брата, которые никогда, – новое восхищение, теперь ещё и Стёпы, – никогда в жизни не работали! С младшим из них Стёпа был знаком с детства, а старший однажды прославился тем, что целых сорок дней не выходил из квартиры. Это деяние, предпринятое им в день своего сорокалетия, в восторженных глазах Стёпы приравнилось к подвигу. В общем, если мне что-то и доводилось о них иной раз услышать, то лишь в самых превосходных степенях.

Таким образом, Стёпа умудрялся никем не быть, и вместе с тем он был всем. Разумеется, я не мог у него спросить: как дела «на работе». Этим вопросом я бы поставил его в неловкое положение, – у него было «дело», но никак не «работа». К тому же он мне толком ничего бы не рассказал; всё было и так достаточно покрыто туманом, – я как бы не дорос до

того, чтобы узнать больше, чем я не знал. Возможно, в наших отношениях знаком особого расположения, самой тесной дружбы как раз и была такая моя роль, согласно которой я был бы единственным в окружении Стёпы, кто не был посвящён в его денежные тайны. Странным образом, и Пётр Недорогин, и Костя Барометров, общавшиеся со Стёпой от случая к случаю и, собственно, узнавшие его исключительно потому, что я их с ним познакомил, были осведомлены в этом вопросе куда более тщательно. Пётр Недорогин, например, утверждал, что Стёпа основной свой доход получает от торговли бензином, – чуть ли не железнодорожные цистерны отгоняют в его хозяйство по тупиковой ветке. От Кости Барометрова я слышал о торговле сахаром – и тоже целыми составами. Как бы там ни было на самом деле, я мог бы себе признаться в том, что и не хотел бы знать такой правды, которая нас непременно бы разъединила. Мне так было спокойнее, – общаться вне денег, – ему, я думаю, тоже.

– А как там «меся Барометров» поживает? – спрашивает меня Стёпа. Он, конечно же, не может знать, что с каких-то пор у меня стали спрашивать: «Как там Стёпы поживают?» – объединяя пару патриотов отдыха в Крыму в нечто совсем уже неразделимое.

Я рассказываю про то, как Костя занимается ремонтом кухни, с ванной он вроде бы уже закончил возиться, коридор ещё в прошлом году сделал, в планах на будущий – перейти к комнатам; словом, работы предостаточно. Стёпа довольно улыбается. Из того, что он затем говорит, можно понять следующее: есть такие люди, для них главное – это стены, в которых они обитают. Они будут заниматься ремонтом всю жизнь, потому что ни на что другое не годны и даже подумать ни о чём другом не могут. Им всегда найдётся, что подправить и обновить. Собственно, жизнь для них из этого и состоит: закончить один ремонт и следом начать другой. Живут в натуральных кладовках, из которых пытаются соорудить дворцы, – ну разве это не идиотизм? В бесконечном улучшении быта проходят годы...

Его прерывает возвращение Наташи. В одной руке у неё чайник, в другой – небольшой поднос с двумя расписными ларцами; всё немедленно ставится на столик. Она извиняется перед нами:

– Вы меня тут заждались, наверное... Галя позвонила, – объясняет она Стёпе, – пришлось с ней поговорить.

– Какая Галя?

– Галя Зубак.

– А-а, Зубак... – тянет Стёпа.

Неожиданно Наташа обращается ко мне:

– Ты же знаешь Галю Зубак?

– Я?

– Ну да, Галя Зубак, чёрненькая такая...

– Да откуда он её знает, – вмешивается Стёпа.

Я не знаю никакой Гали Зубак, но на всякий случай неопределённо развожу руками: «а как же», – меня можно понять и так, что это имя мне, несомненно, знакомо.

Наташа мне почему-то не верит:

– Не помнишь? Чёрненькая. Такая...

– С усиками, – встречает Стёпа.

– Какими усиками? – удивляется Наташа.

– Ну, небольшие усики.

– С чего это ты взял?

– У всех чёрненьких полных женщин есть усики.

– Дурь какая... Вот уж ты разглядел, – замечает Наташа, внимательно разглядывая Стёпу, впрочем, не забывая и обо мне: – Никак? Ещё на старой квартире, на Минской, летом это было. Пиво пили...

Вот-вот, теперь проясняется, а как же... Начали со старого, выжившего из ума «мельника», а закончили чем-то «своим» – уже значительно покрепче, принесённом от соседей. Да, в гостях у Соболевых были ещё какие-то люди, но сколько лет с тех пор прошло?.. Нет, на роль Гали Зубак никто не годился.

– Помню-помню.

– Ну вот! – искренне радуется Наташа. – Она медсестрой так и работает. Они с Серёжей вместе, ты его знаешь...

– Мы чай будем? – подаёт свой голос Стёпа.

– Будем. – Наташа берётся за ларцы. – А какой: чёрный или зелёный?

– Зелёный. Завари «лотос».

– Может быть, «поцелуй» попробуем?

– Лучше «лотос». «Поцелуй» на «беседку» похож, – энергии много.

– Разве? А я и не знала...

Это разговор посвящённых. Обговариваются различные детали. Несомненно, в этих приготовлениях есть какой-то смысл. Всё заканчивается в пользу «беседки».

– Ну давай, рассказывай... – Наташе не терпится услышать от меня какие-нибудь новости о наших общих знакомых.

– Да я уже, собственно, всё рассказал.

Я киваю в сторону Стёпы, втайне надеясь на его пересказ – потом, когда уйду, – но Наташа непреклонна:

– Так не годится, Валера. – Она улыбается, начиная всё больше играть голосом в строгую, но справедливую учительницу. – Уж будь любезен, пожалуйста, рассказать всё как есть, ничего не утаивая.

– «Месяе Барометров» ремонт затеял, – невпопад сообщает Стёпа, потирая ладони от непонятного мне удовлетворения, за что немедленно получает от неё внушение:

– Человек-то, наверное, побольше тебя знает. Ты лучше телевизор потише сделай.

Я вздыхаю, как приговорённый, и снова принимаюсь за пустое дело: комкаю предложения, проглатываю связи между ними, запинаясь. Наташа, кажется, довольна услышанным. Продолжение разговора неожиданно воодушевляет её и озадачивает меня.

– А какой ремонт себе Алик отгрохал? – говорит она уже с нездешней мечтой в глазах, ища подтверждения у Стёпы в каком-нибудь жесте, а чтобы я не посетовал на свою непонятливость, тут же объясняет мне: – Это «люди из Москвы». Ну ты знаешь...

Я ничего не знаю на самом деле, потому что никогда их не видел, но это неважно: моего согласия в этом случае не требуется, – между Наташей и Стёпой начинается обмен мнениями по поводу «грандиозной» перестройки старого дома, купленного двумя легендарными братьями где-то в Подмоскowie за «смешные деньги». Ко мне обращаются в самую последнюю очередь, когда все доводы иссякают, сравнения утрачивают силу, чтобы сообщить размер окон, высоту забора, длину бассейна, ширину кровати, цвет балдахина, запах свежеракрашенной веранды, а главное, что «денег в это дело вбухано немерено».

Я стараюсь как-то вырваться из-под тяжести строительных лесов, мне надо срочно улизнуть от завалов щебня, штукатурки, обоев, и совершенно случайно мне это удаётся.

Слонёнок – тот самый, запретный. Как это я его сразу не заметил? Серый и невзрачный для меня, он теперь лежит на подушке. Ему, как ветерану, предоставили почётное место; возможно, его просто забыли спрятать; веселее он, однако, не стал. У меня возникает только одно соображение на его счёт: этот слонёнок был любимой игрушкой детства для Наташи или Стёпы, та самая памятная вещь, которой нельзя касаться чужими руками. Так иногда бывает, я слышал об этом.

Внезапно у меня появляется острое желание проверить свою догадку: надо всего-то протянуть руку и дотронуться до него. Испытать хозяев, испытать себя – мне-то позволено

это сделать? А что случится: меня остановят окриком или всё же не решатся, промолчат, но после этого я навечно буду отлучён от их дома? Я почему-то всегда считал, что обладаю особыми правами в наших отношениях, если уж мы столько лет знаем друг друга, – так это или нет, на самом деле? В конце концов, я никогда не предпринимал попыток сесть как-то иначе на этом диване, сдвинуться в сторону – даже в голову не приходило! Это острый соблазн... Меня останавливает вопрос Наташи:

– А вы с Леной ремонтом заняться не думаете?

II

Память нельзя обозначить каким-то одним словом, понятием, она переменчива и избегает любых более-менее точных определений. Вот она как точка – и тогда кажется, что всё ясно; вот она как зыбкая, прерывистая линия, тень от колышущихся веток, – разобрать что-либо сложно; чаще – безбрежная пустыня, заполненная миражами. Мы вспоминаем не то, что было. Мы вспоминаем свои ощущения, сны.

Самое начало мая 1990 года, Восточный Берлин. Солнечно и тепло – по-нашему уже лето. По просторным берлинским улицам гуляет ветер, он слегка подталкивает нас в спины, указывая дорогу. Знаменитые круглые часы на Александерплац скоро покажут полдень.

Утром, сразу после завтрака, мы поднялись на лифте на свой четырнадцатый этаж, а может быть и на другой, вошли в номер, потоптались там для приличия немного и снова вышли, чтобы основательно потрепать запасы минеральной воды, в очередной раз заботливо выставленной администрацией отеля «Штадт Берлин» в холле. Мы уже не могли её просто пить, она нам в горло не лезла и не только нам; через какое-то время выражению «бесплатно» нашлась цена, её совершенно случайно обнаружил (так нас уверял) тот, кого удобства ради все в группе после Киева стали называть Тарасом. Можно сказать, что он прославился на весь вагон. В наше купе потом приходили послушать из любопытства, как он снова и снова, с непонятной настойчивостью, если не брать во внимание почти опорожнённую бутылку горилки, стоявшую перед ним, читает стихи.

Выглядело всё это как бы серьёзно и вместе с тем несуразно. Это была такая тихая и строгая мужская декламация: непроницаемое лицо, подходящие к теме складки думы на лбу, неспешность и взвешенность речи. Начинал он с объявления: «Тарас Григорьевич Шевченко», произнося фамилию поэта с ударением на первом слоге, и после небольшой паузы продолжал, безбожно коверкая не только выговор: «Как умру, похоронятэ на Украине мылой...» Никакого вызова, излишней аффектации чувств, однако глаза у него увлажнились и даже слеза в конце концов стекала по щеке. Возникал неожиданный комический эффект, на который он и рассчитывал. Мы со Стёпой сидели напротив, наблюдая ещё и за тем, как Лида, женщина лет на десять старше нас, работавшая в Воронеже на каком-то заводе, тщетно пыталась удержаться от смеха. Удавалось ей это с трудом, если вообще удавалось. Она махала на себя руками, кончиками пальцев осторожно касалась ресниц, – боялась, что потечёт тушь.

Тушь и правда текла, – два неудержимых следа медленно сползали вниз по щекам. Смуглое, словно умножающее печаль, лицо новоявленного Тараса наоборот было сдержанно и вместе с тем внушительно. Всем своим видом он уверял, что его оригинальное исполнение лучше самого оригинала. Покачивался на ходу вагон, и вместе с ним покачивалась его голова, упрямо твердившая всё одно и то же: «Как умру...»

Лиду уже безнадежно трясло, – было похоже на истерику. После некоторого замешательства начинали смеяться и мы. Непонятное веселье охватывало и остальных зрителей, заглянувших на это шоу из соседних купе.

На границе наш туристический вагон цепляли к другому составу, подгоняли под европейскую колею, – веселье продолжалось. Теперь Тарас рассказывал анекдот про «селёдку»,

достоверно изображая пьяного, который ночью, при неверном свете фонаря, у покосившегося забора никак не мог справить малую нужду; перепутал, полез не туда, куда следовало, вытащил из кармана брюк оставшуюся на закуску селёдку и тупо понукал её глазастую морду: «Ну, давай... что вылупилась?» Исполнять анекдот пришлось «на бис», потому что в первый раз женщины ничего не поняли.

Так, с лёгким настроением, добрались до Польши. В Варшаве остановка. Заплаканную от смеха Лиду выводили из вагона под руки, – чтобы подышать свежим воздухом.

Топтались на перроне, оглядываясь по сторонам; благожелательно курили. Вдоль вагонов, выполняя свою нехитрую работу, брели два обходчика с лейкой и молотками. Они методично постукивали по колёсам, проверяли буксы. Поравнявшись с нами, остановились. Спросили оба, по очереди, с видимой осторожностью: «Сигареты есть?» Мы сперва и не поняли, чего они хотят от нас. От предложенной сигареты они отказались, коротко посоветовались о чём-то между собой, – тут только до нас стало доходить, – наконец тот, кто постарше, показывая двумя и тремя пальцами нужное ему количество, произнёс: «Блок». Кого-то этот спрос заинтересовал, – предложение пряталось в чемодане. Стали договариваться о цене; прервались, когда старший вдруг знаком показал обождать, словно услышал что-то важное для себя, – он наклонился к вагону, постучал по колесу и только после этого продолжил переговоры.

Не договорились, потому что вмешался бдительный Тарас: «А куда ты эти злотые денешь?» Парень наконец сообразил, что мы едем в ГДР, но поляки не отступались. Тот, кто младше, распахнул куртку, обнаруживая целый прилавок: наручные часы в три ряда слева, справа – опять же сигареты. Советское всё. Значит, предлагали у них купить. Разумеется, безуспешно. И пошли дальше – как два брата, в форме, при исполнении, сочетая работу с торговлей, не забывая постукивать...

Видя наше со Стёпой недоумение, тот же Тарас охотно пояснил: «Обычное тут дело: либо купи, либо продай. Я в прошлом году в Польше был. Помню, в какой-то маленький городок приехали, и нас в ратуше принимали. Так во время этого приёма сам мэр городка у меня спрашивал, не продам ли я ему несколько блоков «Мальборо».

В этой поездке мы каким-то образом повсюду оказывались вместе с Тарасом: в экскурсионном автобусе, за одним столом в ресторане; в берлинской гостинице номера у нас оказались по соседству, а уже потом, на Балтике, в Кюленсборне, нас и вовсе троих поселили в один номер.

Это он нам рассказал про минеральную воду, вернее, про то, как с ней можно поступить, чтобы увеличить свой скромный туристический бюджет. Конечно, нам со Стёпой подобное соображение в голову не пришло бы, но кому бы, скажем, будь он в Германии, не захотелось выпить на одну-две кружки пива больше, кроме тех обязательных, что подавались в обед и на ужин, – выпить уже от себя, поверх положенного, замечательного немецкого пива, чтобы почувствовать себя свободным, не стеснённым в средствах, человеком. Денег, как водится, было мало. Не надо ещё забывать и про то, что всех без исключения в группе не оставляли мысли купить себе что-нибудь из вещей по укоренённой в те годы привычке «оправдывать поездку», а значит, любая впустую потраченная марка могла нанести серьёзный ущерб подобным планам. Вот и придумал Тарас выливать минеральную воду из небольших стеклянных пузатеньких бутылочек в раковину, а освобождённую таким оригинальным образом посуду сдавать.

Одна пустая бутылка стоила сколько-то там пфеннигов, но если их оказывалось двадцать или, скажем, тридцать, то выручить можно было уже несколько марок, что значительно подогревало интерес к этому бесполезному занятию.

Занятие это представлялось нам ещё и небезопасным: а ну как схватят за руку? Стыда потом не оберёшься... А потому надо быть осторожнее. Надо всё делать спокойно, не сует-

тяться, однако медлить тоже негоже. Действуем по выверенной схеме, главное – не привлекать к себе внимания.

Из гостиничного холла минералку переносим к себе в номер, в несколько заходов, сколько руки возьмут, сначала я, потом Стёпа. Разумеется, без свидетелей. При благоприятном раскладе это занимает несколько минут. За закрытой дверью происходит следующее: выверенными движениями, в умеренном темпе, мы освобождаем стеклянную тару от её содержимого; нет-нет, мы не варвары и не дикари, – сначала каждый добросовестно выпивает по бутылке, даже по две, это обязательный ритуал, Стёпе по силам третья, я его поддерживать не могу, и только потом мы приступаем к делу. Происходит это в ванной.

Работы много. Наш номер заставлен бутылками, они везде: на столе, на кроватях, на тумбочках, на полу у окна... Мы молчим и не глядим друг на друга. Мы думаем об одном и том же: вот как нас угораздило – нам скоро тридцать исполнится, а мы занимаемся такими вещами! Нет, это просто бред какой-то! А в то же время риск – благородное дело, и кто не рискует, тот не пьёт... тьфу ты! В конце концов, это преступление – не выпить такого пива! А мы ещё «тёмного» не пробовали. Вернёмся обратно – что расскажем? Нет, нам не стыдно, пускай будет стыдно тем, кто меняет так мало денег туристам, это же совершенно смехотворная сумма! Мы ведь не капиталисты!.. Но и не какие-нибудь там обормоты, к порядку приучены с детства. Мы же пустые бутылки не бьём, мы их сдаём, всё культурно, пробки под ноги не бросаем, не загромождаем номер пустой тарой, аккуратно её складываем в два больших и прочных полиэтиленовых пакета... Нет, и всё же в голове не укладывается: сдаём бутылки не где-нибудь дома, в зачуханном ларьке у гастронома, а за границей!

На выходе из номера Стёпа оглядывается по сторонам и смешно округляет глаза, преувеличивая возможную опасность. Кажется, всё спокойно. Длинным шагом, почти на цыпочках, с заполненным пакетом в руке, со всей силы морща лицо, отчаянно превращаясь в ежа, он достигает лифта. Следом выбираюсь я.

Едем вдвоём, но недолго. Лифт останавливается и впускает пожилую пару. На нас не смотрят. Мы смотрим прямо перед собой, на дверь; нам очень хочется, чтобы она поскорее открылась на первом этаже.

Так и происходит, спуск заканчивается. Мы выходим из кабины с решительными и вместе с тем беззаботными лицами. Нам не стоит привлекать к себе внимание. Главное условие – не звякнуть пустой посудой; мало ли что мы там несём, кому это интересно? Выполнить это несложно: мы не делаем резких движений, нас никто не задевает, тут это даже сложно себе представить, а мы тем более никого не собираемся задевать. Проходим по холлу мимо постояльцев и обслуживающего персонала с разумной беспечностью – нам это вполне удаётся. Магазин совсем рядом, большой супермаркет, – теперь можно облегчённо вздохнуть.

Направляемся сразу к кассе: сначала я, потом Стёпа. Мы это делаем уже не первый раз, а потому всё происходит без сучка и задоринки. Сдаём бутылки деловито и сосредоточенно. Считаем вырученные монеты, радуемся, как дети. Благодаря Тарасу эта невинная забава превращается почти что в состязание: кто больше сдаст. Всё равно побеждает он, да и аппетиты у нас оказались умеренными – свыше литра пива уже в тягость, – так что больше разговоров.

На часах уже больше двенадцати. Тарас где-то задерживается, хотя мы догадываемся где. Кажется, что и между солнцем и ветром происходит некое соревнование: они словно играют на поднятие настроения и выходит это у них весьма удачно. Настроение у нас какое-то бесшабашное, такое, что хочется куда-то бежать на радостях или, по крайней мере, непременно двигаться в наугад выбранном направлении с той же степенью воодушевления. Всё дело в нашем возрасте и в нашем местонахождении.

Появляется Тарас – лидер неофициального зачёта, нам его уже никак не обогнать; официального признания его результатов, конечно же, не будет.

Очередной порыв ветра помогает нам сделать правильный выбор. За завтраком гид нашей группы объявила, что именно сегодня откроют границу с Западным Берлином и те, кому это интересно, могут туда беспрепятственно прогуляться – как бы на экскурсию. Нам это очень интересно.

Выходим с Александерплац и сразу же упираемся в уличную торговлю: плееры с наушниками, батарейки к ним, кассеты – всё громоздится коробками; торговля идёт бойко, потому что дешево. Это как-то связано с другим ветром – ветром перемен. Дальше – ковры. Целое царство ковров. Они похожи на большие и причудливые географические карты неведомых планет, развешанные и разложенные, где только можно и нельзя. В продавцах этого богатства люди восточного вида. Их много повсюду. Откуда они здесь взялись? Говорят, что это турки-месхетинцы, беженцы. По крайней мере, так говорит Тарас. Они бросаются в глаза: мужчины, женщины, дети – в длинных халатах, платках, шапках. Нигде они не появляются поодиночке, а непременно бредут гурьбой, всей многочисленной семьёй от мала до велика. Кажется, что попал на съёмки какого-то эпического фильма про переселение народов, одна из уличных сцен которого происходит на восточном базаре, – съёмки, правда, разползлись по всему Берлину.

Вот к одному такому персонажу подходит полицейский: что-то спокойно и терпеливо объясняет ему, вернее, пытается это делать и раз и два, да всё без особого толку; кажется, что слова его безнадежно вязнут в распахнутых полах халата чужестранца. Тот и вовсе выглядит потерявшимся инопланетянином или изумлённым героем эксцентрической комедии, сюжет которой основан на курьёзах со временем и пространством, – в его лице так и читается добродушно неизбежное «твоя моя не понимай».

На другой стороне улицы останавливается белый «Мерседес», из него долго выбирается многочисленное и пёстро одетое семейство с детьми – его соплеменники. У них халаты явно побогаче. Последним из-за руля вылезает сам хозяин – большим животом вперёд, перстнями на пальцах, золотой цепью-ошейником, представительной бородой. Неужели это тоже беженцы?

Мы спускаемся в метро, чтобы посмотреть – и только – как тут у них, и находим, что у нас, в Москве, всё же лучше.

На Унтер-ден-Линден весёлая немецкая молодёжь играет в футбол пустой пивной банкой: дурачась, её просто пинают друг другу в движении. Кто-то решает прекратить игру и давит банку ногой. У светловолосого парня в джинсовой куртке на ногах внушительного размера кроссовки; расплюснутая банка застревает в плавных изгибах экспериментальной подошвы. Он трясёт ногой, пытаясь избавиться от жестянки, но у него ничего не выходит. Его дружки хохочут. Тогда он с гордым видом принимается хромать, усердно чиркая дополнительной подошвой по асфальту. С этим почётным эскортом мы добираемся до Бранденбургских ворот. Ещё прежде, на зелёном газоне у одной из автобусных остановок мы замечаем какие-то сероватые комочки, – вернее, мы боковым зрением чувствуем шевеление рядом, в траве. Доходит до нас не сразу. Покуда я молча удивляюсь, Стёпа наконец произносит: «Кролики», а Тарас, отнимая сигарету ото рта, замечает: «Они тут у них вместо голубей». Сероватые комочки прячут уши и неловко, почти безного, время от времени передвигаются по траве. Тарас добавляет, выпуская дым: «Смотри как разъелись... Голуби вы мои!»

У Бранденбургских ворот картина ещё радужнее: тут этих голубей, то есть кроликов, уже значительно больше. Они резвятся на лужайках или, уткнувшись мордочками в траву, неподвижно сидят – и дальше, вдоль стены, на тех участках, которые в данной ситуации легче всего было бы обозначить нейтральной полосой.

За стену пускают, проход действительно открыт. Столпотворения, впрочем, не наблюдалось. Всё было как вчера, только теперь стало возможным продолжить свой путь.

Но куда? Мы ведь ничего тут толком не знали, разве что про кинофестиваль в Западном Берлине слышали, – просто брели вперёд по парку Тиргартен. Кино нам и аукнулось: позже, знаменитым фильмом «Небо над Берлином», где наконец-то мы смогли разглядеть Колонну победы с «Золотой Эльзой» в лавровом венке, до которой мы так и не дошли, оказавшись вполне земными ангелами, привязанными к расписанию дня, помня о том, что нам дано не очень много времени, – и значительно раньше, буквально через день, когда уже наша группа переехала на Балтику, в городок Кюленсборн, где вечером, сидя в гостиничном номере перед телевизором, мы вдруг узнали улицу, оказавшуюся на пути нашего непрямого отступления в Берлин Восточный; на ней обстреляли полицейскую машину в каком-то боевике, а мы там оказались потому, что очень всё же хотели увидеть что-то ещё кроме парковых аллей и деревьев. Мы даже старательно втягивали воздух, пытаясь выяснить, существует ли какая-то разница между двумя Берлинами или она исключительно в головах находит себе место.

Кюленсборн – городок маленький, скромный и не тесный. То общее, что связывает подобные места, располагайся они хоть на севере, хоть на юге, называется морем, и из-за этого кажется, что ты уже бывал тут прежде.

Море всё окрашивает по погоде – дома, улицы, предметы в комнате, настроение, расчёты на будущее; как если бы над хмурыми скалами вдруг сверкнул спасительный луч солнца из-за туч или, безо всякой внезапности, устойчивый головокружительный свет заливал всю округу, но ты всё равно стоял оглушённый от этой всепильной беспредельности, не испытывая ни в том, ни в другом случае равновесия, а только какую-то необъяснимую беззащитность.

Равновесие и спокойствие у моря нам только мнится. Накатывающиеся на берег волны гребёнкой прочёсывают наши мысли, – от них не остаётся ничего. Это воронка, в которую затягивает наше оцепенелое сознание, и нам вдруг начинает казаться, что мы чего-то подобного то ли ожидали, утерев в мутном остатке сна, то ли просто вернулись из какого-то затянувшегося и безнадёжного путешествия по подъездам, кухням и магазинам большого города – и даже так: совсем без сил наконец-то вернулись домой.

Ребёнок прильнул к груди матери.

У Стёпы была закоренелая ещё привязанность к Крыму, воспитанная с детства путёвкой в Артек, – ни у меня, ни у Тараса, как выяснилось, ничего подобного не было. Взгляд Стёпы в каждой мелочи упирался в родное, мы же вспоминали свои сны. Втроём мы скоро прониклись особым спокойствием. Это было спокойствие на краю – потому что дальше уже только вода.

Впрочем, берег при внимательном изучении линии горизонта отыскался. Кто-то уверенно нам объяснил, что этот берег датский. Нам бы и самим, без подсказок, так хотелось думать. В согласном на всякие чудеса настроении мы выходим на балкон, чтобы по праву новых хозяев обозреть отданные в наше пользование на несколько дней окрестности. Двухэтажная гостиница, в которой мы остановились, стоит у моря – до него рукой подать. Номер нам достался замечательный во всех отношениях, хотя выяснилось это не сразу. Мы-то поначалу решили, что ничего особенного, у всех такие же, и даже получше кому-то «апартаменты» достались. Но оказалось, что апартаменты – это у нас, и безо всякой иронии: две комнаты на троих на втором этаже, балкон с видом на море, телевизор, ванная комната.

Распределение номеров носило случайный характер: очевидно, старшая группы решила, что если номер рассчитан на троих, то ничего хорошего это обстоятельство не сулит, и что это обязательно должно быть чем-то вроде тесного зала ожидания на заброшенной железнодорожной станции. Так же, как нам, повезло ещё одной троице: Лиде, умело мешавшей смех со слезами в поезде, и двум девятнадцатилетним подружкам – Юле и Ире. Остальным, после некоторого ропота недовольства и едва ли не настоящих слёз, – конечно же, у обойдённых удобствами женщин, – пришлось довольствоваться малым. Мы так и не узнали,

чего в их номерах не хватало для нормальной жизни, потому что опасались одного: а вдруг нас, едва мы переступим порог, чтобы посочувствовать и исследовать состав «малого», запрут в неудачном номере, и наши апартаменты захватят обманом.

Нам несколько раз постучали в дверь, чтобы вежливо убедиться в нашем благополучии (простодушную Лиду с девочками, видно, уже посетили) и воззвать к мужской обязанности уступать дамам место, но мы так умело маскировали своё присутствие, не помышляя о долговременной обороне, что через час, другой, всё стихло: перестали возбужденно стучать каблучки по лестнице, высохли слёзы; надо было наконец-то начинать радоваться тому месту, где находишься.

Лёгкий бриз овеивал наши лица. Свежесть морского воздуха убеждала двигаться и обещала вечную молодость; по крайней мере, о том, что эти дни уже будут насыщены воспоминаниями, мы смутно догадывались.

Солнцем заполнено всё вокруг, соблазн искупаться велик, но море в мае холодное. Осмотрительные немцы в воду не идут, по песчаному пляжу разбросаны одиночные и парные фигурки лениво отдыхающих.

Нас не трое, а значительно больше: две весёлые подружки из номера-близнеца, с ними Лида в роли мудрой наставницы, атлетического сложения парень по имени Антон, его друг в тёмных очках и ещё одна молчаливая девушка с книгой – непонятно, кому из них подруга.

Жарко, а потому мы за активный отдых. Мы не можем просто так лежать на песке. Первым поднимается Антон. Он прикладывает ладонь к глазам, щурясь от солнечного света, и открывает на всеобщее обозрение сложный рельеф мышц. Античная роспись, лепка. Бог величаво поводит вокруг себя взглядом и решает окунуться.

Мы следим за тем, как скульптурный Антон укрощает водную стихию. Выходит это у него дерзко и размашисто. Немцы поворачивают головы в его сторону, они явно увлечены происходящим. Схватка с морем продолжается не больше минуты; спокойная гладь мелководья не даёт Антону показать своё подлинное величие, – просто холодно очень. Его друг в очках замечает, куда-то неопределённо кивая:

– Я тут смотрел на стенде – температура воды сегодня +12.

Антон с достоинством выходит из моря. Встряхивается, красиво поводя плечами. Капельки воды поблёскивают на его коже.

Стёпа вдруг выдаёт:

– Когда ты в воде, ты не мокрый. Мокрым ты становишься на суше.

Его слова ободряют.

Антон похож на вывинченный шуруп нестандартной резьбы. Он приближается к нам пружинистой походкой вышедшего из повиновения робота, вытягивает полотенце из-под книги читающей девушки и начинает энергично обтираться.

– Как вода? – интересуется его друг.

– Нормально, – скромно отвечает богатырь.

Приходится и нам присоединиться к живописному проекту «Русские на Балтике». Меня хватает на то, чтобы сделать шагов десять, – глубже не стало, а вот холодно – сразу. Ноги просто сковало с непривычки. С удивлением вдруг открываю, что я не герой, однако изображаю осмотрительность: наклоняюсь и кончиками пальцев судорожно провожу по воде. Юле и Ире всё нипочём: маленькие и ладные, они и резвятся, как дети, – плещутся друг на друга, хохочут и визжат; кажется, что шуму от них на всё побережье.

Лида находит в себе силы, чтобы степенно присесть, на секунду задерживаясь под водой до подбородка, – бережёт свою монументальную причёску. Оно и понятно: она находится уже в таком возрасте, когда её единственным достоинством может оставаться только причёска. Другое дело, что подобные головы вышли из употребления где-то в конце 70-х. Тарас напряжённо курит, стоя по колени в воде; отвлекается, говоря как-то вскользь –

то ли Лиде, то ли подружкам, – с ироничной назидательностью: «Такие шалости в воде и неразумны, и опасны». Друг Антона держится несколько в стороне; он неуверенно идёт по направлению к Дании, только бы не видеть этого безобразия, а может быть, ему просто голову напекло. Стёпа стоит на берегу и подыскивает всем нам определения. Он потом скажет, что глухой, почти армейский купальник Лиды, больше чёрный, чем какого-либо другого цвета, по всей видимости, достался ей ещё по «ленд-лизу».

Наш пример оказался заразительным: немцы тоже потянулись в воде. Не все, конечно, но трое смельчаков всё же нашлось. Двое парней помочили ноги и руки, а девушка так даже и попыталась проплыть, – её аккуратно выдворили на берег.

Другим нашим невинным развлечением, но уже в обычном составе, было посещение нудистского пляжа. Он оказался совсем рядом, надо было только перейти через дюны, поросшие редкими усиками травы.

Пространство другого солнечного дня поделено на две части разницей в деталях: с одной стороны те, кто для выхода на пляж подыскивает себе удовлетворительные плавки и купальники, с другой – те, кто полностью освободился от подобных забот. Мы словно чайки, захваченные в небе ветром, парим надо всеми, или выгнутые безответным вопросом лебеди, которых мы заметили у причала, мирно скрываем свои достоинства. На деле же мы держимся как в меру любопытные исследователи чужих обычаев и нравов, относящиеся к ним, если не с пониманием, то скорее уж с чем-то, отдалённо напоминающим вынужденное уважение.

Картинка в головах такая: вот тростниковые хижинки, туземцы разводят огонь, вкусные и питательные плоды сами падают с пальм, а жирная и не менее питательная рыба выбрасывается на берег. Это рай, и потому тут все ходят голыми. Мы – тоже.

Наше уважение похоже на ожидание – но чего? На этот вопрос никто из нас не сумел бы ответить. Вот мать с ребёнком от нас неподалёку. Она увлечённо читает журнал, поправляя очки. Сыну лет шесть, он возится в песке. Вот пожилая пара старательно приманивает к себе солнце, – откровенными буквами раскинулись по плакату с майским призывом. Вот кто-то стоя демонстрирует себя холодному морю. Проходят две разговаривающие о чём-то девушки...

Нас ничто не унижает и не оскорбляет, но Стёпа вдруг вспоминает про своё достоинство. Он переворачивается со спины на живот, то одной, то другой щекой прилаживается к сложенным рукам, наконец закрывает глаза и затихает. Тарас выглядит более опытным бойцом. Он закуривает и медленно уходит вдоль берега, как раз по линии вечного спора с морем. Сигарета в его пальцах выглядит весьма значительной деталью утраченного костюма. Мне вдруг начинает казаться, что он одет с головы до самых пяток. Я не знаю, как я выпляжу; чтобы не оставаться в неопределённости, иду следом.

Наша экскурсия по пляжу длится недолго. Везде одно и то же. Разнообразие тел обрачивается одинаковостью восприятия. Мы вернулись к природе, но оказались беззащитны перед её проявлением из-за утраты смысла. У Тараса хоть сигарета в руке, подумал я, он за неё крепко держится, она его и спасёт в итоге. Под ноги к нему скатывается волейбольный мяч. Тарас ловко цепляет его ногой, втыкает сигарету в рот и, подбросив мяч, с излишней серьёзностью в лице отправляет его обратно к парням и девушкам, беззаботно проводящим время в игре.

Что дальше? Вряд ли что-то новое или необычное ждёт нас. Мы достаточно себя проверили, – разведчики возвращаются.

Стёпа лежит в том же положении; он даже и заснул как бы. Шумно присаживаемся рядом. Он очнулся, спрашивает случайно:

– Ну что там?

Я пытаюсь рассказывать, но о главном говорит Тарас:

– Было на что посмотреть.

Мы видели сон наяву, а Стёпа прятался от возбуждения в тёмной прохладе забытья. Ему не стоило напрягать свой ум и чувства по одной весомой причине: он отдыхал от ночи, и ночь звали Юлей...

Делать нам тут больше нечего, потому что нам кажется, что делать что-то надо. И мы оставляем пляж.

Эта ночь была уже не первой; всё началось ещё в Киеве и теперь вот продолжалось, наводя меня на противоречивые мысли.

Я смотрел на то, как Стёпа поднимается, стирая налипшие на лоб песчинки, проводя с той же целью ладонями по груди, и пытался совместить его с Юлей, поставить их рядом; уже и смотрел на него её глазами: крепкое тело, мускулистая фигура – такой не может не нравиться девушкам, женщинам, да кому угодно. Он занимался спортом: летом играл в футбол, зимой – в хоккей, и всё с одинаковым успехом. Бегал по утрам, подтягивался на перекладине, сделав это чуть ли не ежедневной привычкой. Он выращивал своё тело, следил за ним, чтобы оно не обрастало лишним весом. Своей спортивной подтянутостью он явно выделялся в группе, и привлекал внимание ещё и тем, как одевался, – в этом он, несомненно, знал толк и никогда не пренебрегал возможностью приобрести какую-нибудь новую тряпку.

Надо заметить, что в то время модные вещи по большей части приходилось доставать, а не просто покупать в магазине. Стёпе в этом хлопотном деле регулярно помогали так называемые «люди из Москвы». От них ему доставались штаны, рубашки, майки, куртки, обувь, часы... Могу ошибаться, но мне почему-то казалось, что всё, ну или почти всё, что было надето на Стёпе, сначала какое-то время носилось младшим из легендарных братьев, – носилось, скорее всего, недолго и очень бережно, так что никакого ущерба внешнему виду не причинялось и видимых телесных отметок принадлежности старому хозяину на одежде не оставалось, – а затем отправлялось в провинцию за ту же цену, как новое. В итоге оба оказывались довольны: Вадик, так звали столичного благодетеля, тем, что поносил и не выбросил, а Стёпа тем, что обновлял таким образом свой гардероб. Им это удобно было делать: Стёпа как-то обмолвился, что они одного примерно роста и размеры у них совпадают. Где-то в мире шилась одежда «от кутюр», подразумевающая качество и разнообразие торговых марок, а Стёпе, если что и перепало с этого призрачного конвейера, то исключительно под одним проверенным знаком – «от Вадика».

Выходило всё равно неплохо и даже замечательно.

Во всяком случае, Стёпа доверял своему «торговому дому» и всё своё уважение к нему вкладывал в понятие «люди из Москвы», даже если речь шла (а чаще всего именно так и обстояло дело) об одном только Вадике; понятие оказывалось чрезвычайно ёмким, для посвящённых в нём находилось место и тайне, и силе, и намёку.

Теперь Стёпа в Германии, и никакие посредники, даже в виде «людей из Москвы», ему не нужны; выбирай себе, что хочешь, тем более, что возможности для этого есть, – восточную марку как раз приравняли к западной, всё идёт к объединению, а потому денег у наших туристов вдруг становится больше, и Стёпе даже приходится занимать очередь в магазине одежды вместе с немцами – это в маленьком-то Кюленсборне!

На нём лёгкая оранжевая безрукавка с капюшоном, голубые линялые джинсы; на босых ногах мягкие светло-коричневые мокасины, «маслята», как он их с любовью называет. Рядом Юля: каштановые волосы собраны кверху в пучок, тёмные внимательные глаза напрашиваются на сравнение со спелой вишней, и если это правда, то в этом нет никакой пошлости. На ней розовая кофточка и шорты в чёрно-белую полоску. Сзади – ну да, похожа на зебру, которая одновременно и пони, – такая она ладная и маленькая, ростом ему до плеча, очень трогательно выглядит. Тарасу нашлось, что сказать и по этому поводу: «Маленькая женщина для любви, а большая для работы».

Эти слова он произнёс в Киеве (обычно он не говорил, а именно произносил), почти сразу же, едва мы познакомились: два определившихся трио сошлись в номере невзрачной киевской гостиницы, чтобы выпить и поболтать. Самое начало отдыха и общения. Ещё днём на Крещатике мы взяли две бутылки чего-то местного – сладкого, раскрашенного, в меру крепкого, как раз для лиц обоего пола. Вечером намечался хоккей: наши на чемпионате мира встречались со шведами. Но мы о хоккее на время забыли, – увлеклись. Сидели в нашем номере-копии будущего немецкого, – заметно ухудшенной, надо сказать, и какой-то недоделанной, – и беспричинно невпопад веселились.

Впрочем, благоразумная Лида держалась по возрасту: выпила немного, только для того, чтобы раскраснеться и поднять настроение. Без слёз со смехом всё же не обошлось, – но раза два только лёгким приступом накатило. Спасительно махала руками; то часто моргала, то боялась моргать. Стёпа увлечённо молол какую-то чепуху, Тарас его равномерно поддерживал. Я скорее был похож на бывшего официанта, который никак не может выдать из себя прежние привычки. Мне оставалось изучать предметы на столе и лица.

Юля возбуждённо вертела головой, чаще поворачиваясь к Стёпе. Уже тогда я обратил внимание на то, как она произносила его имя: Стёп-па – с лёгким удвоением буквы «п», неожиданным акцентом непонятого происхождения, делающим Стёпу мягче, чем он есть на самом деле. Услышишь так несколько раз «Стёп-па» и вдруг увидишь: всё верно, подходит. И голова за него отвечала: тогда ещё нежёсткий ёжик волос – поверхность прирученной домашней щётки.

Подружка Юли Ира более сдержанна и осмотрительна. У неё светлые волосы, круглые остановившиеся глаза. Кажется, что она ко всему прикладывает готовое мнение, – это пугает. Посмотрев на неё внимательно, уже можно узнать, какой она будет лет через двадцать, а это не очень приятное открытие. Что-то её смущает в нашем общении. Она здесь явно за компанию с Юлей. И покидает нас сразу после Лиды, успев на что-то надуться. Лида должна зайти к какой-то женщине, она обещала. Помня о добровольно взятой на себя обязанности быть строгой наставницей молодёжи, она не преминула заметить девочкам, чтобы те не засиживались. И мы с Тарасом вдруг вспоминаем, что битва под Полтавой уже идёт, в самом разгаре, наверное, и нам тоже надо спешно выдвигаться в холл, где несколькими часами раньше мы заметили массивный сумрачный ящик, очень похожий на телевизор, который, если его включить, возможно, и заработает. Профессиональный спортсмен и болельщик Стёпа с нами не идёт, – Стёп-пе сейчас как-то не до хоккея. Он говорит: подойду попозже. У нас нет причины ему не верить, ведь этот человек в детстве, чтобы посмотреть хоккей, усаживался перед телевизором в шлеме и с клюшкой в руках, коньки ему родители не разрешали надеть, справедливо беспокоясь о сохранности паркетного пола. Разве можно, будучи таким одержимым, пропустить хоть одну игру?

Ящик, хотя и работает с надрывом, но картинку показывает нужную: наши побеждают. Зрителей несколько человек, есть свободные места. Странное дело: в полутьме среди мужиков мы замечаем старушку в очках; она неподвижно сидит позади всех, в её толстых линзах происходит драка. Нам кажется, что она просто терпеливо ждёт, когда эта глупость закончится, чтобы посмотреть что-то другое. Но пока что творится форменное безобразие и конца ему не видно...

Довольные итоговым счётом, мы возвращаемся. Шведы разбиты, но мы вдруг словно натываемся на поражение. Несомненно, это поражение наше. Веселье в номере заметно потяжелело. По Юле видно: она не понимает, что происходит. Какое-то подобие вопроса в выражении её лица мешается с отчаянием. Так сразу мы понимаем и того меньше: то ли Стёпа перед нами, то ли Стёп-па – сообразить трудно.

– Ну как, выиграли? – спрашивает он не нас, а дверь за нами.

Только теперь мы вспоминаем, что он пропустил игру и какую игру!

Мы и оставили-то их всего на один период и вот не узнаём, – глаза у обоих пьяненькие и возбуждённые, странно блестящие (и когда успели-то?), так что мы весьма удивились (а я ещё и потому, что до этого случая никогда не видел Стёпу таким пьяным; после тоже уже не доводилось) и тогда же подумали сразу: что-то из всего этого несомненно получится.

Так оно и вышло: на ночь Стёпа удалился с Юлей в смежную комнату.

Я находился в каком-то странном состоянии: с одной стороны радовался, почти ликовал, словно продолжалась игра, а с другой – переживал, даже не знаю, за что. Наверное, оставляя небольшой зазор для будущего, где бы могло уместиться моё сожаление. И прислушивался. Тарас широко и спокойно спал. А я не мог вот так просто. У нас была разная кожа. Звуки меня окружали всегда, часто теснили; я не из тех, кто засыпает под радио. А в таком вздёрнутом состоянии я мог бы услышать, о чём молчит шкаф и какой тоской оправдана тишина настольной лампы. Я вслушивался в возможность быть другим – в данном случае, быть таким, как он, быть Стёп-пой. И это состояние снова повторилось в Кюленсборне. Оно накрыло меня с головой в номере-оригинале. Тарас спал как работяга, честно отпахавший смену на заводе, а меня ночь определила в мечтатели с чуткими оттопыренными ушами.

Ночь здесь, на Балтике, для меня больше, чем дома, – у неё неохватные размеры из-за близости моря, его сдержанного дыхания, из-за крыши гостиницы, в которой мы находимся, развёрнутой в тёмное небо, к слабым звёздам.

Мы так сразу и отделились, не мешая продолжению: нам с Тарасом вторую и большую комнату с балконом и телевизором, Стёпе – первую, где есть дверь в коридор, чтобы можно было без помех войти и выйти.

Вот они входят. Вначале ничего не слышно, но, кажется, что Юля высказала какое-то сомнение. Стёпа тихо отвечает: «Ничего страшного». Её шёпот укрощён его спокойствием, но говорит она пока что очень тихо. «... никогда бы не подумала», – удаётся мне расслышать. Он усмехается и на положении хозяина включает радио. Разумеется, так, чтобы оно звучало только для них двоих. Стёпа аккуратен, – «вдвое надо быть деликатнее...» Я улыбаюсь темноте в этой комнате и приглушённому свету в соседней. Тарас на кровати рядом переворачивается, не прерывая своего движения в тёмном туннеле сна; своим лёгким храпом он настойчиво роет нору. Весёлую музыку сменяет ещё более оживлённая реклама. В быстрой немецкой речи я разбираю только одно слово «цванцих». Оно звучит часто: «цванцих» да «цванцих» – каждый день набрасывается на нас, в любом месте, где только есть радио, становясь для нас главным словом в немецком языке. Мы им пользуемся для обозначения конца чего-нибудь и вообще для всего, что нам непонятно.

Неожиданно Юля спрашивает:

– Стёп-па, а как правильно говорить: каталог или каталог?

– Конечно, каталог.

– А надо мной девчонки в магазине смеялись, когда я сказала «каталог».

– Ну и что? Пускай смеются, если неграмотные, – рассуждает Стёпа. – Но правильно всё равно будет «каталог».

Внутренне я сжимаюсь в комок, – я не готов к такой доверительности, интимной теплоте. Мне неловко, но я невольный свидетель, мне некуда спрятаться. Я и так вжался в ночь насколько мог, чтобы раствориться в ней.

– Я вообще хочу уйти из магазина... Мне там работать не нравится.

– Ну и правильно. Разве это дело?

– Я учиться хочу. Только вот не знаю, куда поступать...

Стёпа не отвечает. Он чем-то занят; донышко стакана два раза встречается с поверхностью стола. Звук наливаемой жидкости – но не плотный, как у пива, другой. Нет, ночью он больше выпивать не будет. Скорее всего, «кола» или «спрайт».

– Стёп-па.

Голос Юли прячется в улыбку.

– Ну сама посмотри.

– И что?

– Я просто.

Пауза.

Снова Юля – осторожно:

– Как ты думаешь, у меня получится?

– Что?

– Поступить.

– Почему бы нет.

– А я как-то неуверенна...

– Это не сложно.

Потом ничего не слышно. Реклама. В тихую музыку несколько раз настойчивой командой прорывается «цванцих».

– Завтра? – переспрашивает Юля.

– Да, завтра, – поясняет Стёпа и выключает приёмник.

Опять пауза.

– Ну вот... – тянет Стёпа.

– А ты как думал? – усмехается Юля.

Моё сердце открыто всему, что происходит вокруг, – открыто жизни. Темнота сгущается до неожиданного признания: всё это, чему всё же нет точного определения, будет двигаться только вперёд, но состоявшись, насовсем не исчезнет, – оно останется здесь, в этих стенах, и везде со мной. То, что происходит, можно измерить: сумрак волн, крадущихся к берегу; и как Тарас затихает, а потом снова начинает закапываться ещё глубже в сон; свет уличного фонаря за стеной, прямо в окно комнаты, где меня нет и где я всё равно есть, – он отражает слабые атаки мошек; комнату, которая надёжно скрывает Стёпу и Юлю, и их дыхание, настолько совпадающее с настроенной тишиной всего здания, что его совсем не слышно. Это похоже на вспышку озарения – и радостного, и грустного одновременно. С лёгким холодком, почти страхом, я вдруг понимаю, что буду потом вспоминать эту минуту, – уже заранее зная, что она ко мне вернётся.

Утро всё меняет: глаза упираются в стену, вздох и выдох моря выбирают другое направление взгляда – к небу. Оно серое, раннее. В такие часы хорошо принимать решения. Надо что-то делать, пора. В небе нет ничего для чувств, волнений и оценок, оно ещё не поднялось к солнцу, нависая над водой и сушей. Мне надо срочно до него дорасти. Тарас и Стёпа спят; мне кажется, что они путаются в своих снах как в показаниях. Я тихо выбираюсь в коридор, закрываю за собой дверь; спускаюсь по лестнице первооткрывателем-одиночкой, мне начинает представляться, что на Земле бодрствую только я один, – вокруг ни души. На улице очень свежо; я в майке, шортах и кроссовках, мне немного зябко.

Я зеваю и протираю глаза, втягиваю ноздрями воздух; даже запахи едва просыпаются, они ещё не нагреты солнцем.

Обойдя здание гостиницы, смотрю налево и направо. На пляже мы уже были. Значит, налево. Бегу вдоль моря, поглядывая на улицу с аккуратными домиками, – сразу становится легко и просто. Впереди замечаю двух рабочих, склонившихся у придорожного столба, потом ящик с инструментами у их ног, кабель... Занятые своим делом, они не обращают на меня никакого внимания. Моя пробежка длится минут двадцать, мне этого вполне достаточно. До преображения, конечно, далеко, но бодрит несомненно.

Возвращаюсь, словно открыв что-то новое в себе, с ощущением какой-то вдруг приобретённой значительности: как же – пока все спали, я занимался если не самым важным делом на свете, то, по крайней мере, необходимым для меня при данных обстоятельствах, это уж

точно. Но вечером выясняется, что спали не все. На сообщение Тараса о моей неожиданной прыти, Лида, внезапно обернувшись дородной и рассудительной фрау, отмахнулась как от некой нелепости: «да видела я, как ты бегаешь» – в том смысле, что я трачу попусту время.

Оказывается, меня видели из окна. Не наблюдали за мной, а так, мельком углядели, то ли открывая, то ли задёргивая шторы. То, что мне представилось значительным, из окна выглядело довольно заурядным. Возможно, я бы согласился с мнением Лиды, если, конечно, только правильно понял, что она хотела сказать. В то время мне ближе была сторона Тараса, чем Стёпы, – Тараса, заявившего мне ещё в Киеве: «Я в этой поездке от женщин отдыхаю», хотя я ничем подобным тогда похвастаться не мог. Тарас, совпадая со мной, тоже куда-то случайно или наоборот, повинуясь природному зову, продвинулся, но ещё более невероятным образом.

Он и прежде, как только мы оказались в Кюленсборне, сделался как-то по особому задумчив в иные минуты: мог так просто стоять на берегу и смотреть в море, разминая сигарету. Он словно бы и ждал такого момента, чтобы ему наконец выдохнуть из себя какую-то тяжесть и освежить под балтийским ветром лицом. И в тот же день, когда я совершил свою первую олимпийскую пробежку, Тарас сочинил стихотворение. И, немного смущаясь, прочитал его мне, держа в руке лист бумаги, аккуратно заполненный неторопливым и округлым почерком.

Кюленсборн

Белый песок, цвет заката – надежда увидеть.

Лебеди белые, люди голые

Море и небо, душа и тело

Границы размыты,

размякли, растаяли в полуденной дрёме.

Всё забывать, ни о чем не думать,

Ничего не знать совершенно.

Только солнце одно, поворот плеча,

лоб горячий, линия бедер...

Безглазие, безмолвие.

Иногда всхлипы чаячьи и чей-то голос

ладонью зовущей к лебедям повернутой:

"Шипа! Шипа!"

Я, конечно, удивился, однако не спросил его ни о чём. Всё же и знал я его мало для того, чтобы спросить. У меня промелькнула только одна мысль: когда он успел? Стоял на берегу, шевелил губами, а сегодня взял и незаметно записал?.. Для него всё это было правильным и закономерным, но доверился он только мне одному, никак не Стёпе, увлечённому половыми играми, – ему стало просто некогда, он был занят, как оказалось, от и до; вроде бы Стёпа находился рядом с нами и в то же время его с нами не было.

Да, я видел только одно, и, к сожалению, совсем не видел другого, не заметил, в отличие от Тараса, тех значимых деталей, которые должны были меня насторожить.

Случилось это ещё в Берлине, просвещал меня Тарас, когда у Стёпы разболелся зуб. Странно, но последнее обстоятельство у меня почему-то напрочь вылетело из головы. Возможно, ещё и потому, что я уже привык, что Стёпа самостоятельно решал эту проблему, когда она возникала, не прибегая к помощи врачей, – он их боялся больше собственной боли,

вообще отвергая чужое прикосновение, воспринимая его как грубое вторжение, даже если оно несло вслед за собой скорейшее облегчение, а потому сам же себе делал разрез лезвием для бритья на верхней десне, спуская образовавшийся флюс, разумеется, предварительно обработав инструмент спиртом; эту операцию он проделывал уже неоднократно.

Однако на его раздутую и приподнятую губу вместе с поплывшим глазом в гостиничном коридоре случайно обратила внимание старшая нашей группы. И ещё бы не обратить внимание на такую тягостную картину! Женщина вполне разумно поинтересовалась у Стёпы, закрывшегося рукой от излишнего внимания, что случилось и не нужна ли ему медицинская помощь, на что он, прошамкав и промычав одновременно: «Не надо», тут же скрылся в своём номере. Старшая не отступилась и, чтобы избежать не вполне ясных ей, но всё же возможных в дальнейшем осложнений или неприятностей, вызвала-таки дежурного немецкого врача.

Где я был в это время, вспомнить не могу. Скорее всего, по этажам слонялся. Во всяком случае, вся эта история в тот день почти миновала меня.

Дежурный немец несколько раз постучал в дверь к больному русскому, но безуспешно. Тарас уверял меня, что следом для оказания экстренной медицинской помощи прибыла уже бригада врачей. Стучали по-разному, дёргали за ручку, – дверь хранила молчание. Старшая видела, что Стёпа вошёл к себе в номер, а как он выходил обратно, она уже не видела, хотя... она ведь не стояла у его двери на карауле, и он вполне мог выйти, но куда, разговаривала она со стеной в коридоре, куда он мог пойти в таком виде и с такой болью? Мысли в её голове возникали уже совсем нехорошие...

Я сказал «почти», потому что Тарас успел выдернуть меня из лифта, когда я собирался спуститься вниз. Может быть, надо было стучать на разные лады, чтобы случайно попасть в нужный тон, тогда бы и дверь сама волшебным образом открылась, но мы в этом занятии не преуспели. Так, несколько раз только скупно отметились для участия; ещё вызывали больного, надеясь на знакомые ему голоса, – с тем и отступились. Мне вообще-то не хотелось решать эту дилемму: там он или нет. Я знал про его заветную палочку-выручалочку, хранимую как лезвие, и потому в любом случае думал, что лучше ему не мешать, он себя лучше всех доброжелателей знает. Сделает или уже сделал спасительный разрез, создавая отток. Сидит, должно быть в ванной, промывая рану. То, что при этом он терпел боль, как-то даже и не обсуждалось. Эту боль он терпел от себя, а не от посторонних. Так ему было удобнее, как бы дико это не звучало. К примеру, Тарас, при всей своей иронии, как потом оказалось, вообще против всех болезней признавал единственное проверенное средство, вьетнамскую «звездочку», и готов был её втирать в кожу по любому поводу.

Тарас оказался проницательнее меня, он знал все эти, ставшие обыденными, манипуляции с лезвием и причину исчезновения Стёпы вывел из поговорки, казалось бы, не имеющей никакого отношения к делу, – ищите женщину. В данном случае, другую женщину.

«Цванцих» – и больше ничего. Тарас почувствовал то, на что у меня, увы, никакого нюха не было. И убедительно разъяснил мне уже в Кюленсборне, и даже указал.

Я и правда, мог не замечать самых очевидных вещей, за мной такое водилось, вплоть до того, что все уже всё понимают, а я продолжаю не верить. Но на этот раз мне пришлось поверить.

Вечером, после ужина, мы сидели, по обыкновению, в гостях у Лиды, Юли и Иры. Номер у них, как мне показалось, был даже просторнее нашего, может быть ещё и потому, что мебели в нём было меньше, так что места хватало многим. Традиционный чай в продолжение с тем, что у кого осталось после пересечения границы домашнего или просто отечественного – печенья или конфет; музыка из радио с неизменным, как припев, «цванцих»; от нас весёлые разговоры и смех. Среди прочих фигур я замечаю ту, на которую как-то не обращал прежде внимания, но не потому, что «я в этой поездке от женщин отдыхаю», а потому,

что я так поступал и до поездки. Мой взгляд совпал со взглядом Тараса. Я увидел готовую картину в рамке, а он, пользуясь случаем, предоставил мне причину закрытой двери в берлинском номере.

– А вот и она, – сказал он просто.

Пауза была, хотя длилась недолго. Я не выдержал:

– Да ладно, не валяй дурака.

– А тебя никто не валяет, – со вздохом парировал Тарас.

Она сидела на подоконнике, – окно было распахнуто, впуская свежесть морского воздуха, – свесив ноги в комнату, повернув голову в сторону водной и небесной стихии; погода начинала портиться, отражённый перелом падающего, ускользающего солнца давал всему проему законченное и даже вечное выражение, которое невозможно было оспорить: мир на самом деле это то, как мы его воспринимаем, как на него отзываемся.

Она обернулась на миг, обведя комнату рассеянным и несколько скучающим взглядом, и снова спрятала лицо.

Жёлтые, средней длины волосы, серые глаза, упрямый лоб; в пухлых губах то же свойство. Выдающийся размер груди под чёрной обтянутой майкой, белые штаники, заканчивающиеся ниже колен.

Я вспомнил, что её зовут Света.

Но как – как это всё могло произойти? Как они вообще нашли друг друга? Когда сговорились?

Я посмотрел на Стёпу; сидя на диване, он выглядел вполне беспечным, я бы даже сказал, нейтральным по отношению ко всем собравшимся в номере, никак не выказывая своего отношения к Юле. Наверное, из-за этой Светы, решил я.

Они оба никак себя не выдавали.

Да нет же, никак не соглашался я, у него же болел зуб, это же ни на что не похоже!

«Вот именно», – как бы издевался молчаливый взгляд Тараса. Кое-что он успел мне о ней рассказать, потому как слышал от своих друзей ещё раньше. По словам Тараса выходило, что особа она известная, прославленная своими способностями, мастерица в этом деле знатная, даже прозвище себе заработала: «швейная машинка».

– Это как? – не понял я.

– Долбится как швейная машинка.

Это просто «цванцих» какой-то! С оттопыренной губой, заплаканным глазом... Ну как не захотеть такого красавчика! Любовь зла, полюбишь и... В голове никак не укладывается. Это было до лезвия или после?.. Хотя бы догадаться не взламывать дверь, – кто-то сказал, что видел его внизу, в магазине, с раздутой щекой. Хорошо ещё, что Юля при этом не присутствовала, – как бы это выглядело тогда, а? Тоже стучала бы в дверь, кричала: «Шипа! Шипа!», а ей не открывали... Безобразие. Мрак.

Есть, наверное, какое-то свойство в мужском организме, которое привлекает женщин, на уровне запаха, осанки, движений, жестов, тембра голоса, когда всё вдруг совпадает и ничего с этим поделать нельзя, – неосозаемый контур приобретает физические очертания, в достоинствах которых хочется убедиться.

Я вспомнил Берлин, нашу вечернюю прогулку по Унтер-ден-Линден; мы выходили с какой-то площади, преобразованной в Луна-парк, – сочными гроздьями свисали разноцветные гирлянды лампочек, вертелась карусель, шары сбивали кегли, дымились сосиски с горчицей; без пива не обошлось, без музыки тоже, она гремела повсюду заводным ритмом, группа «Депеш Мод», песня «Enjoy the Silence»... Стёпа задержался у крайнего лотка, разглядывая витрину, даже наклонился из-за своей природной близорукости. И вдруг принял на себя седока, – сзади, из людского потока, с радостным криком: «Дитер!» на него запрыгнула девушка; она обхватила Стёпу руками, повисла, потом спрыгнула; ошарашенный, он обер-

нулся; она смущённо прыснула в подставленные ладони и быстро исчезла в толпе. Наши, кто стали свидетелями этому казусу, рассмеялись. Сам Дитер-Стёпа так, кажется, до конца ничего не понял. Я тогда естественно подумал, что немка просто-напросто обозналась, но теперь рассудил иначе: нет, она в нём что-то почувствовала и не смогла устоять перед мимолётным порывом.

На следующий день Стёпа попал в историю с зубом. Мимо нашего номера проходила Лида; она вспомнила, что Стёпу вчера вечером звали иначе, и спросила у Тараса: «Как там наш Дитер?» – «Дитер болен», – ответил находчивый Тарас.

Стёпе зуб не мешал. Он ему обострял чувства. Ему мешали мы – своим назойливым желанием спасти. Он потом подтвердил мне, что почти так всё и было, как рассказывал Тарас. Подробности меня уже не интересовали. Мне было неловко. Это не моё приключение, я даже не уверен в том, приключение ли это, но я о нём знаю и, значит, тоже участвую.

Ночью мне приснилась одинокая швейная машинка. Настоящая. Кажется, у бабушки такая была. Фирмы «Зингер». Она стояла у открытого окна; занавески шевелились от уличного ветерка. И всё – больше ничего не происходило. Я проснулся с ощущением пережитого кошмара.

Простодушная Юля не догадывалась о том, что кроме неё у Стёпы в этой поездке был кто-то ещё.

Мы вернулись домой. «Швейная машинка» растворилась в толпе встречающих на перроне вокзала, а Стёпа с Юлей продолжили свои отношения.

Я снова в этом участвовал, – не знаю, почему. Возможно, Стёпа таким образом уже подготавливал своё расставание с ней, и я ему был нужен для того, чтобы всё выглядело таким же поверхностным, как и в Германии. Он договаривался с ней о встрече, потом звонил мне, предлагая подъехать, – мы ходили на каких-то трёх товарищей, совершенно равных друг с другом, беспечных, свободных. Встречались у него дома, ещё в родительской квартире, когда они отбывали на дачу; с остатками ещё немецкого веселья пили чай, но уже не под «цванцих», а под импортные кассеты и пластинки, доставшиеся ему от «людей из Москвы»; ездили за город, в Боровое, чтобы искупаться в реке, ведь и лето уже началось, на «Жигулях», взятых Стёпой у тех же незаменимых людей на условиях аренды ещё прошлой осенью. Он даже Новый год умудрился встретить со своей машиной; рассказывал мне с гордостью, как вышел на заснеженную улицу с бутылкой шампанского и чокнулся с капотом: «Поздравляю! Мы с тобой прекрасно поработали. Будем надеяться, что в наступающем году будет ещё лучше!..»

Час-два в день, обычно вечером, он теперь отдавал частному извозу, какой-то процент заработанного возвращая братьям-благодетелям. На ту жизнь, которую он себе затевал, денег ему вполне хватало, а потому он без сожаления расстался со своей прежней работой, из-за чего у него вышел конфликт с отцом. Тот подобное предпринимательство считал унижительным ловкачеством, но никак не настоящим делом, достойным его, руководящего работника, сына, – пусть той же службой в общепринятом учреждении, – да так бы тогда многие посчитали. Он был скуп на чувства, но тут не выдержал и дал им волю, – Стёпе пришлось уйти из дома. Всё равно вышло кстати, – пора было становиться самостоятельным. Он безусловно к этому стремился, желая быть свободным, кажется, ото всего – семьи, общества, государства. Всё совершалось быстро и одновременно, как бы стихийно, в соответствии со временем перемен.

«Люди из Москвы» Стёпу и тут не бросили: они устроили ему комнату в квартире своей знакомой; тогда же в его жизни появилась Наташа. Её положение в чём-то было сходно с положением Стёпы: она жила на квартире у своей подруги, известной как Галя Зубак, которая работала медсестрой у неизвестного мне врача-стоматолога Серёжи. Собственно, через зубы они и познакомились друг с другом: Галю Зубак хорошо знали родители Стёпы,

именно они, а точнее, его мать каким-то образом сумела уговорить своего очень чувствительного к боли сына посетить зубной кабинет. Её уверения в том, что «болжно не будет», оказались правдой. Самое верное объяснение тут было такое: и до нашего города наконец-то добрался прогресс. Современное оборудование кабинета, конечно, имело значение, но спасённый Стёпа верил ещё и в умелые руки специалиста.

Спасать Наташу не было никакой необходимости; если бы и надо было её спасать, то совсем по другому случаю: она приходила к концу рабочего дня к своей школьной подруге Гале просто так, от нечего делать, – живя в её квартире, она ничем не была занята, нигде не работала, то ли ожидая какой-то весомой поддержки от жизни, то ли просто пережидая неудачную полосу. И вот вдруг сошлось и двинулось – в хорошую, нужную сторону... Эта версия истории знакомства Стёпы и Наташи долгое время оставалась единственной, по другой версии всё на самом деле обстояло совершенно иначе, но мы об этом узнали значительно позже, *уже после всего*, а тогда даже слова такого, «версия», ни у кого в голове возникнуть не могло.

Раздвоенность Стёпы длилась недолго. Он стал тяготиться отношениями с Юлей, стараясь пореже оставаться с ней наедине, – это не поездка, где всё внове и есть куда двигаться, а дом; дома тесно – другие расстояния, сразу вылезают привычки, возникают обязанности; обязанности и теснят, а Стёпа не любил обязанностей.

Юля тоже что-то почувствовала; она стала понимать, что продолжения не будет, что ни к чему всё это не приведёт. Я всё больше начинал ощущать себя дураком – всякий раз, когда её видел. До звания идиота мне оставалось совсем немного.

В конце августа Галя Зубак собралась замуж. Стёпа улучшил свой быт, съехав на новую съёмную квартиру. Наташе тоже надо было куда-то собираться, хотя собираться ей, судя по всему, было некуда. Стёпа позвонил мне и сказал про Юлю: «Понимаешь, она всё же не для меня... Нет, она хорошая девчонка, но ей нужен другой... Мне Наташа больше подходит, она нужна мне в делах...» Последняя фраза прозвучала для меня странно и непонятно. Я хотел спросить «в каких делах?», но не смог или не захотел. Он мне уже почти диктовал так же сбивчиво свою просьбу: «В общем, ты позвони ей и как-то объясни, но по-другому... Я не знаю даже... Она сама тебе позвонит...»

Я понял одно: она его ищет, а он не отзывается. Она обратится ко мне, чтобы выяснить, что происходит.

К осени всё закончилось – самым неловким и неприятным образом. Её голос в телефонной трубке был пронизан обидой, уже готовой злостью ко всему; при других обстоятельствах я бы его не узнал. Я сразу же зачем-то начал извиняться, пытаюсь что-то объяснить. Она, кажется, не понимала ни слова. Мне вдруг показалось, что более убедительным я буду, если увижусь с ней. Непонятно с чего, но мне показалось, что всё ещё можно исправить или хотя бы на какое-то время продлить. К тому же мне непременно хотелось доказать свою невиновность. Даже не знаю, чего я ещё себе тогда насочинял.

Договорились встретиться вечером, на Московском проспекте, у галантерейного магазина за мостом, где она работала. Я вышел из троллейбуса и перешёл дорогу. Уже начинало темнеть. Среди лиц многих прохожих я сразу разобрал лицо Юли. Она стояла на углу дома, перед аркой, совершенно обособленно. Я узнал её глаза, – это были глаза человека, оказавшегося в печальном положении. Мне вдруг представилось, что я не иду к ней, а ползу.

Дул холодный ветер, тут ещё пошёл мелкий надоедливый дождик. Взгляд схватил основное: короткая куртка, длинная юбка в складку, сапоги, зонтик в побелевшей руке, раскрытый над головой, – Юля мёрзла; ей было холодно ещё и от моих слов – нелепых, случайных, простительных разве что ребёнку, только ребёнок таких слов не говорил бы. Она прервала меня: «Да что ты оправдываешься?» И мне уже не надо было к ней наклоняться, – она вдруг сразу выросла, превратившись в оскорблённую женщину; всё вперёд отразилось в

мокром блеске её тёмных глаз, и уже я, сжавшись, вынужден был смотреть наверх, не зная, куда глаза девать. «Да пошёл он...» – расстроено, с презрением добавила она, но не договорила, застучав каблучками по асфальту.

Я тоже был разочарован. Нет, я был зол на себя; словно опомнился: чего это я себе выдумал, с какой стати? Куда полез? Чего хотел? Прикрыть друга? Идиот – самый настоящий!

Вот я попал... Да это не попал, а попанул! Я думал, что чему-то научусь, но ничего подобного: всё это мне что-то напоминало.

Мне стало неприятно, что он меня использовал. Такое уже случалось, но, разумеется, в несопоставимых величинах, по незначительным всё же поводам, относящимся к нам двоим и только. Он всегда поступал так, как ему было нужно. Помню, ещё в студенческую пору, мы договорились пойти на вечер с дискотекой, устраиваемый в цирке к 8 марта. Я, как дурак, просидел дома у телефона, ожидая его звонка, но так и не дождался – ни на другой день, ни на следующий за ним... Тем же неудавшимся вечером, когда прошёл назначенный для встречи час, звонил ему сам, но к телефону никто не подходил. Я уже было решил, что могло что-то случиться (он же ещё утром мне звонил), но потом сообразил, что ничего плохого с ним не приключилось. Никакой тайны в его исчезновении не было, всего лишь отсутствовала информация несколько дней. И вот он объявился, и стало ясно, что с ним случилось только хорошее.

Неожиданно приехал Вадик, младший из братьев, тех самых «людей из Москвы», и Стёпа забыл всё на свете. Они просидели на какой-то квартире весь вечер и даже всю ночь играли в карты, а на следующий день отправились в Москву, там Стёпа и провёл превосходно всё это время: никуда не выходил, ничего не видел, опять же резался в карты, даже оставшись в выигрыше. О том, что ему надо было меня обо всей этой замечательной истории как-то предупредить, так об этом ни слова (если только чуть-чуть секундного смущения во взгляде), не только по забывчивости, а возможно, ещё и потому, что «вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого одалживаешь».

Ну ладно, я обижался на него недолго, хотя заметка в памяти осталась.

В другой раз, уже значительно позже, в совершенно новом государстве, когда в моду вошли внешние признаки значительности, чтобы не казаться обречённым ничтожеством, словом, в обновлённое время, Стёпа снова исчез, пропустив на этот раз мой день рождения.

Он, конечно же, знал и был приглашён, потому как за неделю до даты уже звонил и справлялся у меня, как я намерен отмечать. День рождения в тот год у меня выпал на среду, гости созывались в субботу; вечером в среду я и удостоился того самого удивительного звонка. Справедливо ожидая поздравлений, я взял трубку и получил их от кого-то. Незнакомый голос деловито осведомился: «Господин Кириллов?» Голос был такой официальный, что мне пришлось сознаться в том, что это я и есть. Тогда тот же откровенно секретарский голос сообщил мне, что по поручению депутата государственной думы... дальше шла всё же какая-то знакомая фамилия... и от партии, возглавляемой этим же депутатом, партии, состоящей, кажется, исключительно из одной его внушительной фигуры, всегда громким голосом обещающей немедленные перемены к лучшему, если только он станет у власти, – так вот, от этой самой демократической партии и ещё от господина Соболева лично меня поздравляют с днём рождения и желают всего самого наилучшего.

Я смог только вымолвить придавлено «спасибо», на большее меня не хватило: никаких расспросов, почему же сам «господин Соболев лично» не смог поздравить меня лично и вообще, где он, куда подевался... Если он этим хотел произвести на меня впечатление, то он явно ошибался, да и на кого бы это могло произвести впечатление? Неумно и дёшево. Не в его духе, я его просто не узнавал. И потом голос: какое-то ревностное чувство подсказывало мне, что позвонил младший из таинственных братьев, которых я никогда не видел, Вадик, –

только для «людей из Москвы» такие странные знаки внимания могли иметь какое-то значение. Если только это всё же не было глупой шуткой, подумал я, но для чего это Стёпе? Куда он снова сорвался?

Объявившись месяца через два, он никак об этом случае не обмолвился, может быть, потому ещё, что, как мне показалось, должен был всё же испытывать чувство неловкости. Однако сколь неожиданно он позвонил, столь же неожиданно был весел и как-то очень уж подготовлено непринуждён – так обычно бывает, когда хотят забыть прошлое и помириться. Но нам-то что делить? Я даже не знал, как ему напомнить о тех обстоятельствах, при которых мы не увиделись в последний раз, да и уместно ли это будет теперь?

Примеров подобных случаев хватало, и всегда они заканчивались ничем. Никаких объяснений, хотя бы намёка, а уж тем более чего-то большего. Понятно, что про Юлю он у меня ничего не спросил. Его занимали совсем другие дела.

Стёпа снова переехал: квартира на этот раз была не съёмная; маленькая, однокомнатная, на левом берегу, а всё же своя, приобретённая при деятельном участии матери, не забывающей поддерживать сына. В эту квартиру на Минской к Стёпе перебралась Наташа. Галя Зубак удачно вышла замуж за какого-то делового человека. Всё развивалось таким образом, что и Стёпе с Наташей надо как-то оформить свои отношения. Его отец к тому времени неожиданно понял, что к прежнему порядку жизни ничего вернуть уже не получится, и надо просто смириться с тем, что происходит, а лучше всего приспособиться. Так и быть, согласился он, делайте, что хотите, говорил он своей жене, матери Стёпы, но у меня только одно условие: мне нужен штамп в паспорте, чтобы всё было законно, чтобы никакого сожительства без обязательств, я такого уродства терпеть не могу, так им и передай; на том и порешили, и пришли к согласию, и стали снова видеться друг с другом, а не ссориться и бунтовать.

Пожениться – выражение слишком ответственное, больше интимное, немое, чем общественное и громогласное. Свадьба – это уже понятие вселенского размаха, пир на весь мир, какая-то нелепая потеха для чужих глаз. А потому никаких «пожениться» и тем более «свадьба». Таких выражений в словаре Стёпы и Наташи не существовало. «Пожениться» заменили на «расписаться», потому что больше нечем было заменить, а совсем выбросить никто бы не дал, и то, эту уступку сделали исключительно для сурового и непреклонного отца Стёпы, ожидавшего вожделенного штампа в паспорте. «Свадьба» уступила место скромному «вечеру». Да, Наташа так и сказала, приглашая нас с Леной: «Приходите, у нас будет вечер».

«Вечер» состоялся вечером на родительской квартире. Ещё днём, на пороге, Стёпу и Наташу встретил отец: «Давайте показывайте». Втроём прошли из коридора на кухню; достали паспорта и показали, чтобы можно было убедиться. Николай Иванович вышел и, не меняя своего озабоченного лица, возвестил: «Ну, теперь можно отмечать».

Мы ничего этого не видели, потому что пришли позже, к «вечеру». Нам об этом рассказала мать Стёпы, Татьяна Михайловна, хотя и она сама ничего толком не видела, больше слышала; паспорта Наташи вообще никто никогда не видел – ни со штампом, ни без штампа – и не потому, что ставил себе это какой-то целью, специально интересовался, а потому что тут действовал некий запрет, нам совершенно непонятный. Мы и узнали о том, что на паспорт Наташи наложено табу несколько месяцев спустя, совершенно случайно, будучи у Соболевых в гостях, когда легкомысленная Катя, жена Кости Барометрова, взяла его с журнального столика. Она только и успела спросить с улыбкой: «Кто паспорт потерял?», но раскрыть ради любопытства уже не смогла. Наташа просто выхватила документ у неё из рук; паспорт, судя по всему, был опрометчиво оставлен ею без присмотра. Катя так и застыла со своей странной улыбкой, словно наткнулась на внезапный барьер. Впрочем, всё обратили в шутку и тогда этому случаю никто большого значения не придавал.

«Вечер» был действительно скромным, без излишеств и обрядов, и не только потому, что в стране начались сногшибательные реформы. Из гостей немного родственников, внушительная Галя Зубак с хромым мужем и мы. Снег за окном, лёгкий морозец – прекрасное начало для новой жизни. Всякий раз потом, возвращаясь в этот знаменательный день, Наташа говорила примерно так: «Помните, вечер у нас был?» или «Тогда на вечере у нас...», и мы понимали, что это не просто какой-то рядовой вечер, а именно *тот самый вечер*, который состоялся февральским вечером не помню какого дня.

К лету молодожёны снова переехали, перебравшись в результате сложной комбинации обмена-купли-продажи с левого берега на правый, теперь в центр, на улицу Кирова, поближе к родителям Стёпы.

Стёпа принялся рассуждать о том, сколько денег надо молодой семье, чтобы стать на ноги. По его расчётам выходило много, нам столько не заработать. Правда, не совсем было понятно, о чьей семье идёт речь. Никогда в разговоре Стёпа не называл Наташу «жена», а она его «мужем» – таких слов у них не принято было говорить о себе, так можно было говорить о других. В понятия «твой» или «твоя», которыми они пользовались, вкладывалось достаточно иронии; они использовали их применительно к себе для характеристики третьих лиц. Например, Наташа могла сказать: «Я сегодня пошла в магазин, а меня соседка у подъезда останавливает и спрашивает: «Что-то твоего давно не видать?» А я ей: «Да как же его днём увидеть? Рано встаёт и сразу на работу, возвращается поздно...»

Что-то изменилось и «дело» Стёпы каким-то образом превратилось в «работу», он теперь на неё ездил. Наташа оставалась дома, хлопотала по хозяйству, звонила нам и на час, а то и два, могла занять Лену разговором: «Вот сижу, малышку своему ужин готовлю, скоро уже приедет...» Внешне Стёпа на малышка, конечно же, никак не походил.

Детей молодая семья, как выяснилось, заводить не собиралась – ни сейчас, ни когда-нибудь потом. Стёпа твёрдо стоял на своём: никаких детей, куда он не будет уверен в том, что его окружает, куда не будет соответствующих условий, соответствующего капитала... Наташа только разводила руками. С другой стороны его подход мог показаться очень ответственным, если бы не время, которое равнодушно отсчитывало годы. Наташа уже рассказывала и такое: «Нет, у нас всё нормально. Ну что вы? Мы даже справки можем показать, что совершенно здоровы!»

В чём нас убеждать? Лена вздыхала, я брал трубку, спасая её от бесконечного монолога, и говорил что-то такое стойкое и правильное, должное, наконец, расставить всё по местам, чтобы уже никогда не беспокоиться, и заодно представить меня в выгодном свете, за что и получал в ответ просветлённое: «Да дорогой ты мой человек!» Так она блажила и блажила...

Есть девушки, в которых очаровательно их молчание, – уже готовый портрет в галерею, им и не надо говорить никаких слов. Наташа не знала, что молчание может быть очаровательным, она постоянно что-то рассказывала и даже слушая, умудрялась говорить. Если же вдруг ей приходилось в течение продолжительного времени не произнести хотя бы слова, она расстраивалась. Её лицо зримо пропадало: смуглая кожа бледнела, появлялись щёки, подбородок укрупнялся и круглел от скуки.

Она принадлежала к тем людям, которые утром обязательно скажут: «Доброе утро!», перед сном пожелают «спокойной ночи!», если чихнёшь, то обязательно от них услышишь: «Будьте здоровы!» – в общем, никогда не оставят в покое. Она будет всем интересоваться, сочувственно вникать в детали, кивать и покачивать головой; она, то наморщит лоб, то просят, но что там у неё внутри на самом деле, зачем ей всё это нужно – один бог ведает.

Наташа была на пять лет моложе Стёпы, родители её умерли, и где-то у неё оставалась только ветхая бабушка.

Через год после поездки в Германию мы в прежнем составе, имея в виду ещё и Тараса, которого, как оказалось, на самом деле звали Игорем, снова отправились за границу, на этот раз в Венгрию; я потом уже никуда больше не выезжал. Стёпа показал мне листок из блокнота, заполненный неровным почерком Наташи. Это был список вещей, которые она заказывала ему привезти. В перечне обыкновенной женской дребедени (бельё, косметика и прочее) последним пунктом значились абстрактные «приятные мелочи» – как бы на выбор, доверяя вкусу Стёпы. Именно так и было написано: «приятные». Это обезоруживало.

Дня через два после того, как мы вернулись обратно, Стёпу у подъезда остановил его сильно пьющий сосед; он где-то прознал, что Стёпа был за границей, а потому поинтересовался с мутной развязностью алкогольного утопленника: «Ну как там, за бугром?»

– За бугром в отеле за дверь номера выставляют обувь, а у нас в подъезде оставляют пустые бутылки, – с серьёзным видом сообщил Стёпа; всё это он проговорил как-то очень уж победоносно, словно ожидал подходящего случая.

Всякий человек по возможности старается избегать ненужного ему общения, но у Стёпы это выходило слишком болезненно: он брал через край и сторонился с тщательностью, не забывая о том, что надо постоянно быть настороже. Чужие или даже просто плохо знакомые люди делали его беспокойным, заставляли на всякий случай напрягаться, быть кем-то ещё, кроме себя самого. Нерешительность в нём сочеталась с внезапной отвагой, впрочем, комичного свойства.

Ещё в студенческие годы он запросто мог сдать деньги для участия в какой-нибудь вечеринке и потом на неё не явиться, но не потому, что не смог и что-то ему помешало, а потому что он и не собирался приходить. Точно так же он сдавал деньги на билеты в кино или на концерт, иной раз даже уверяя всех, что идти надо непременно – фильм потрясающий, певица великолепная, – но сам снова нигде не присутствовал. А то вдруг обыкновенная покупка носков у него превращалась в головокружительное приключение, и надо было за ними куда-то далеко ехать, на окраину города, чуть ли не прорываться, и рассказывалось об этом с таким восторгом, что поневоле я начинал сопереживать, забывая о ничтожности повода: «Смотрю – есть, не обманули, – и сразу в кассу. Пробеите, говорю, пять, нет, шесть пар... Кассирша на меня смотрит, как на больного. Думает, нашёлся дурак, они же такие дорогие, кто их брать будет?» Это непонимание ему доставляло совершенное удовольствие, – только он один по-настоящему понимал, что такого замечательного в этих импортных носках.

Теперь его страсть к хорошим вещам могла разделить Наташа. Меня, как и прежде, подобные радости не занимали, а вот Лене в какой-то степени, по-женски, это было интересно.

Как-то осенью в одном из больших центральных магазинов она столкнулась с Наташей. Доверчиво улыбнувшись, Лена едва только успела сказать: «Привет!», чтобы в ответ услышать: «Подожди, я сейчас занята». С этими словами Наташа исчезла, чтобы уже больше не появиться. Вид у неё был странный: строгая чёрная куртка, такого же цвета джинсы, на ногах крепкие ботинки армейского фасона, надо ли говорить, что тоже чёрные; странность более всего заключалась в широком поясе поперёк её туловища, пояс с толстым кошелём на животе. Лену тут именно кошелёк на животе почему-то поразил, он заслонил всё: и то, что лицо у Наташи было озабоченное, и голос совершенно другой, не приподнятый, без переполнявшей её радости, а сухой, деловой, словно где-то во дворе разгружались грузовики с товаром, и она ждала, когда ей отдадут накладные. Помня все её долгие разговоры по телефону, радушные встречи и восклицания: «Да человечек же ты мой золотой!», Лена рассчитывала на привычную теплоту и внимание и вдруг обманулась. «Она на полицейского была похожа, – рассказывала мне Лена, – или воеводу... Прямо малышок-полицейский какой-то!»

Стало понятно, для каких дел она нужна Стёпе; то есть дел их мы, конечно же, не знали, но убедились, что она ему действительно нужна. Стёпа и Наташа нам представились двумя искушёнными бойцами: один отдаёт приказы, другой их исполняет, вместе же делают одно большое дело. Это – команда.

Разумеется, потом, спустя какое-то удобное для всех время, она что-то пыталась объяснить Лене: «Ситуация была такая... Ну ты понимаешь...» Голос в телефонной трубке слегка запинаясь как бы в поисках душевной поддержки, и дальше ничего уже не надо было объяснять, таким Наташа оказывалась дорогим и золотым человечком.

Жизнь для Стёпы выстраивалась настолько хорошо, таким естественным и лёгким образом, что он почувствовал в себе способности к чему-то большему. Его возможности теперь носили нематериальный характер. Он рассказывал, просветлённо улыбаясь, что когда идёт по улице, то словно дёргает за ниточки проходящих мимо него девушек, легко управляя их настроением и вниманием. И выходит это у него как-то само собой, между прочим.

Казалось, что в таком особом, посвящённом состоянии он теперь пребывал постоянно. Обо всём имел своё суждение, сомнений не испытывал вовсе и даже если чего-то не знал прямо, то полностью доверялся своей бесприимчивой интуиции.

Весной памятного 98-го года Стёпа настойчиво советовал Косте Барометрову положить деньги в какой-то Первый туземный банк (ПТБ), проводивший тогда широкую рекламную кампанию по телевидению. Высокие проценты, такие же гарантии, уверял Стёпа, контора солидная, вложение надёжное и, несомненно, выгодное. Со стороны можно было решить, что он сам имеет какое-то заинтересованное отношение к этому банку, потому так старается. И особенно напирал он на какой-то «привилегированный депозит». «Я уже так и сделал», – заключил он, довольно потирая руки.

Осталось неизвестным, хотел ли Костя выгодно вложиться, следуя подсказке Стёпы, и всего лишь счастливо замешкался на всё лето, да только в августе Первый туземный банк рассыпался как карточный домик. Когда мы напомнили Стёпе про его совет, он очень удивился: «Я? Депозит?» Для наглядности он даже пожал плечами: «Да я таких слов не знаю!» Вот что называлось «сменить свои показания». И Наташа подхватила, рассмеявшись: «Какой же нормальный человек деньги в банк понесёт! Да вы что?» Мы словно оказались не в своём уме. Нам даже и удивиться в свою очередь нельзя было.

Между тем, внешние признаки значительности побеждали. Он обзавёлся массивным перстнем с рубином и, будучи у кого-нибудь в гостях, сидел за столом, старательно оттопыривая мизинец, чтобы все присутствующие могли хорошенько рассмотреть оправу, оценить чистоту красного камня и осознать его богатство. Он так и проводил весь вечер в приподнятом настроении, наслаждаясь произведённым, как ему казалось, эффектом.

Ещё в начале девяностых Стёпа завёл себе собаку, пепельно-серого пуделя, бесхитростно названного Дружком. Завёл собаку он, а занималась ею бабушка, и кличку неподобающую пудель получил именно от неё. Других кличек для собак она просто не знала; исправно выгуливала Дружка каждый день около подъезда, двумя руками держа его на охранительном поводке, – очень уж горяч и порывист был кудрявый Дружок, норовя свалить бабушку.

Дружка стригли по собачьему канону, чтобы он выглядел модным красавчиком; мыли особым шампунем, кормили неслучайно, продуманно, а он, едва очутившись на улице, всё равно рвался куда-то навстречу неведомому; бабушке, порядком уставшей в борьбе с собачьей любознательностью, только и оставалось, что слабым голосом напрасно увещевать непоседу: «Дружок! Дружок!»

И жил Дружок, естественным образом, не у Стёпы, а в родительской квартире, в соседнем подъезде. Стёпа только приходил в гости; стиснув зубы от полноты чувств, трепал бабушкиного питомца по загривку и, на всякий случай, пробуя его вразумить, разговаривал

с ним как с подающим надежды и способным к быстрому обучению ребёнком: «Дружок! Дружок!». Оба выглядели довольными.

Пуделёк был довольно забавный: усиленно вилял, как положено, хвостом или, вернее, тем, что должно было его напоминать; за наличием его в усечённом виде, Дружку, от переизбытка собачьих чувств, приходилось буквально дрожать всем телом – так хотелось ему выказать свой восторг, и свою чуткость, и признательность хозяевам, и готовность непонятно к чему.

В этой неуёмной дрожи он был всегда начеку. Это-то и умиляло, и больше всего трогало в Дружке любого, кто хоть однажды его видел. Даже и выражение такое появилось, чтобы обозначить эту чуткость, и это прилежание, и мгновенную готовность: «дрожать как Дружок». Так что Стёпа, к примеру, вполне мог обозначить чей-то заискивающий взгляд в подчинённой ситуации одного человека перед другим подходящим случаем сравнением: «Стоял передо мной и как Дружок дрожал». И сразу же всё становилось понятно.

Другое выражение, получившее в то время хождение в нашем кругу, касалось Стёпы; оно умножало его, возводило в степень, превращало в символ. В этом выражении было ещё немного Наташи, она выглядывала из-за спины «хозяина» необходимой деталью. Кажется, первой его пустила в ход Катя, жена Кости Барометрова.

Однажды мы столкнулись на улице: конец лета, не видели и не слышали друг друга уже месяца два, если не больше. Обыденный разговор коснулся знакомых – у кого что нового, – и тут Катя спросила, простодушно прячась за улыбкой: «Как там Стёпы поживают?»

Так бывает: возможно, она забыла фамилию и только в последний миг успела вывернуться.

Вышло лучше, чем можно было ожидать. Вышло случайно, но забавно. Забавное оказалось ещё и милым, а милое всегда приживается.

Семья получила определение. С тех пор так и повелось спрашивать у меня о Соболевых: «Как там Стёпы поживают?», ведь я же виделся с ними чаще, чем другие. А Стёпы звонили мне после очередного отдыха в Крыму и Наташиным голосом приглашали в гости. Я послушно приходил, Наташа удивлялась: «А где же Лена?», но головой качала недолго, – оба были просто без ума от этого Крыма и потому наперебой принимались рассказывать.

В их Крыму было всё замечательно: и море, и природа, и воздух. Я вспоминал ироническое напутствие Лены: «Лети, голубок, тебя там ждут» и убеждался в её правоте.

Всякий раз меня убеждали в том, что Крым – это земля обетованная. А я словно бы не вполне верил и в чём-то сомневался, хотя бы ещё и потому, что ни разу там не был.

Меня теснили с двух сторон, подталкивая в гору; я карабкался по скалам, – осыпались камни, солнце слепило глаза. Я задышался от головокружительного подъёма, а мне снизу кричали Стёпы: «Ну как? Правда, здорово?!...» «Ага», – отвечал я, затравленно озираясь, и думал: зачем мне всё это?

Меня продолжали уговаривать, но я словно не соглашался подписать какие-то важные бумаги, выдать, наконец, из себя признание... «Напрасно ты в Крым не едешь», – вздыхала Наташа. «Погоди ещё», – вступался Стёпа; он в меня верил.

Стёпы любили Крым, Крыму очень нравился Стёпа. Наташа рассказывала про какого-то Толика, местного парня лет восемнадцати, сына хозяйки, в доме которой они останавливались, – так вот, этот самый парень чуть ли не с восторгом выслушивал всё, что говорил Стёпа. Каждое слово вызывало у Толика чувство, близкое к изумлению: «А откуда ты это знаешь?» Создавалось впечатление, что Стёпа, будучи в Крыму, уже не говорил, а вещал. Судя по всему, тем, кто за ним не записывал, потом горько пришлось пожалеть за свою оплошность.

Наташа ещё раз мне повторила, изображая немую сцену: «Вот так вот рот раскрыл и спрашивает у Стёпы: «А откуда ты всё это знаешь?» Она замирала, а Стёпа протягивал мне фотографию: на ней между ними широко стоял высокий парень в белой футболке и черных

шортах; я отмечал наивное детское лицо и отчётливо выдающееся брюшко. Если это было доказательство, то – чего? «Не поверишь», – добавляла Наташа, прикладывая руку к груди, а я добавлял про себя: «как Дружок дрожал».

В ней самой было не меньше благоговения и почтительности перед недюжинным умом, оказавшимся на отдыхе, чем у неизвестного мне крымчанина.

Слушая Наташу, Стёпа прикрывал глаза и покровительственно улыбался. С другой стороны это можно было просто принять за довольную расслабленность после очередной чашки выпитого чая, который имел, вне всякого сомнения, какое-нибудь мудрёное и обязывающее название.

Чашка с небольшим остатком на доньшке покоилась у Стёпы на коленях: он умиротворённо придерживал её кончиками пальцев. Крупный загорелый лоб жил своей жизнью: у переносицы на непродолжительную летучку собирались складки, затем разглаживались, обнажая бесконечный и ясный простор; губы были более снисходительны – они подрагивали в предательской иронии.

Немного поёрзав на диване, с видимым усилием в разговор вступал Стёпа. Он говорил о высоком, не доступном пониманию большинства. Предметом его, если не восторга, то явной заинтересованности и уважения, был некий аскет, как он его называл, мужчина за пятьдесят из Ленинграда, а теперь и Петербурга, приезжавший, как и Стёпа, каждый год в Крым.

Слово «отдых» не прозвучало. Он там, в Крыму, жил всё лето. Ни у кого не снимал жильё, а просто жил на природе в палатке. Поджарый, загоревший во сто крат сильнее Стёп вместе взятых, уже обменявший своим ежегодным упорством прежнюю кожу на постоянный загар, с выгоревшими волосами, спутанной бородой заслуженного аборигена, в одних только шортах, всем крепким обветренным телом он подходил каким-то стихийным представлением о вольном существовании. Он идеально вписывался в рельеф местности кустарником или камнем, века пролежавшим на дороге в пыли.

«Понимаешь, – рассказывал Стёпа, – он никому ничего не должен».

Кажется, это было его главной заслугой. Свободного человека звали Геней. Отрешённый от всех мирских забот, он сидел на скале и слушал море. Почти безмятежная водная гладь нежилась на солнце и, как бы понимая, что за человек наблюдает за ней, даже немного смущалась. Тело Гены, доверившееся природным инстинктам, непринуждённо дышало. Он весь был открыт миру.

«Понимаешь, – начинал увлекаться Стёпа, – ему ничего не надо! Ни денег...ничего!»

Первые два-три года Стёпа к нему только приглядывался. Случайному знакомству был рад несказанно. Никаких бесед или совместного времяпрепровождения не случалось. Гена был не болтлив, даже и вовсе скуп на слова: говорил исключительно о погоде, основное хранил в себе. Стёпа толком ничего о нём не знал, только видел, и этого было достаточно.

Вдруг мне показалось: ещё немного и я увижу Дружка. Но нет, Стёпа, по-видимому, уже сам сообразил, что взял чересчур восхищённый тон, и неожиданно обрывал себя, переводя разговор на наших общих знакомых: «Ну ладно, а что нового у Петра?» «Да-да, – ещё более оживлялась Наташа, отдавая должное цельной натуре крымского аскета, – как там Недорогины, не расскажешь?»

Я рассказывал, что знал. Недорогины недавно вернулись из круиза по Средиземному морю. Среди прочих стран посетили они и настоящую обетованную землю. Израиль Петру не понравился. Ещё бы: всех туристов, которые решились сойти на берег, обманули на таможне. Обязали каждого сдать по сто долларов в качестве залога, а вернули доллары фальшивые. Выяснилось это уже потом, в море, когда несколько человек этими ничего не стоящими бумажками попытались расплатиться в баре корабля. Кинулись проверять остальные – и с тем же результатом. Никто из побывавших на земле обетованной не избежал этой уча-

сти. «Ты только подумай, – возмущался Пётр, – это же таможня! Можно сказать, государственные ворота!»

Эти «государственные ворота» Стёпу и Наташу очень позабавили. Они словно только укреплялись в своей уверенности насчёт обязательности и ценности Крыма. Казалось, Крым прописан им на все годы вперёд, и сложно найти брешь в их устойчивом предпочтении. Уже никто и не говорил про Крым, и уж тем более туда не ездил, – открылись другие возможности, маршруты, – но Соболевы стояли на своём. Исключения, естественно, делались, горизонты расширялись, и за границу они выезжали. Нам же было не до Крыма и загранич, теперь уже и Крым обернулся заграницей, – мы плотно сидели дома. После 91-го года я стал невыездным: половина зарплаты уходила на еду, половина – на оплату квартиры, проезд и прочие неприятности.

Однажды Стёпа прислал мне открытку из Испании: на обратной стороне привлекательных видов Майорки можно было разобрать несколько слов, написанных неровным почерком: «вот... тут мы находимся...» Умеющий складно и интересно говорить, по мнению многих (звучало это как «хорошо говорить»), на бумаге Стёпа отличился удивительным лаконизмом. Кто-то, менее расположенный к нему, обозвал бы его почерк каракулями. Какой-нибудь специалист отметил бы сбивчивость мысли. Я же увидел его несомненную иронию по отношению к самому себе; мне даже показалось, что слова на открытке не написаны – это было бы уже слишком, – а нацарапаны на выдохе.

Внешне выглядело так, что Стёпа уже всего достиг. Пить чай в тёплой благоустроенной квартире, смотреть футбол по телевизору, а летом выезжать на море – и больше ничего ему не надо в этой жизни. Оставалось только совершенствовать себя.

Спортивный по своей натуре, он занялся бегом по утрам. Довольно скоро это занятие перестало быть просто увлечением, оно стало системой, превратилось в ритуал. Он поднимался ровно в шесть утра и ехал на трамвае несколько остановок до небольшого стадиона «Чайка», на котором мы занимались физкультурой ещё в студенческие годы. Всячески разминался там в одиночестве, приседал, махал руками, подтягивался на перекладине – главным же было пробежать несколько кругов по дорожке вокруг футбольного поля.

Всё это чрезвычайно поднимало ему настроение, «заряжало энергией», как он выражался. Ранний подъём утром делал ему весь день. Он испытывал радость ещё и по другому поводу: люди в это время спешили на работу; о том, что они не свободны в своих желаниях, лучше всего говорили их лица, – его же переполняло чувство свободы и ему хотелось им поделиться. С кем? Со мной, разумеется. «Они все утром на работу, – увлечённо рассказывал он, – и только я один на стадион!» Это словно подчёркивало его некую избранность – он выступал против общего потока.

Дело шло к сорока. Выражение «соответствовать возрасту» для Стёпы означало быть физически совершенным, не распускаться, превращаясь в тюфяк, набитый соломой. Бег не прекращался ни в дождь, ни в снег – погода его не сильно смущала. Стёпа знал главное для себя: надо быть последовательным, нельзя сбиваться с заданного ритма.

Его упорство приносило свои плоды. «Смотри, живота нет», – говорил он, задирая футболку, и поднимал руку, приглашая не только посмотреть, но и пощупать. «Попробуй ухватить! – подначивал меня с некоторым торжеством. – А то ходят, бока нависают!» И так было видно, что никаких складок у Стёпы нет. Но я всё же пробовал, чтобы порадовать его лишний раз, и убеждался: тщётно, ухватиться совершенно не за что. О том, что его замечание про «бока» может хоть как-то касаться меня, речи не шло, – из-за своей природной худобы я ещё как-то держался в форме, не прилагая к этому особых усилий.

В борьбу за физическое совершенство с неизбежностью подключилась голова: у Стёпы появились новые мысли, поменялся круг чтения. Место художественной литературы заняла литература эзотерическая. За неизменной чашкой чая, после демонстрации очередного уси-

ления двери, Стёпа пространно толковал мне что-то о скрытых возможностях человека, умственной силе, посвящённых людях, сосредоточенности и покое. Одну из книжных полок облюбовали книги Ошо, Гурджиева и других проводников в тайны человеческой психики и духа.

Осторожно слушая его, я вспоминал иного Стёпу, того, что когда-то открывал мне имена писателей, которыми я потом зачитывался. Он не скрывал своего мнения, говорил горячо, убеждённо, не забывая об иронии. Так, например, он высказал предположение, что «Лолита» это ответ Набокова Томасу Манну на его «Смерть в Венеции», – Набоков полагал эту вещь Томаса Манна невразумительной и слабой, явно не заслуживающей того внимания, которое она получила, вот и ответил – очень многословно, настолько его задела незаслуженная слава. В другой раз он заявил, что «Доктор Живаго» был написан под финальные стихи, – читаешь этот роман и мучаешься, пытаешься зацепиться за прозу поэта, за один-единственный путеводный образ горящей свечи, и вдруг как награда за все перенесённые муки, неожиданное оправдание сотен страниц, словно жемчужное ожерелье в подарок, стихи.

С ним интересно было спорить, а теперь спорить стало не о чем. Я пытался ему рассказать о романе нового писателя, который прежде вызвал бы у него интерес, но он скептически отмахнулся: «Ну что роман?.. Сейчас быть писателем – это всего лишь знать, как заработать деньги». Наташа, желая принять участие в разговоре, как бы возражала, одновременно высказывая две противоположные точки зрения: «Неправда. Разве это плохо?» и уже обращалась ко мне, мечтательным взглядом выражая поддержку: «Вчера писателя одного показывали... забыла как зовут... так интересно говорил!» Однако Стёпа был неумолим: «Хорошего писателя по телевизору не покажут!»

Они заговорили про известного художника К., в прошлом году вернувшегося из эмиграции, и стало ясно, что у них появился кумир. Как раз вчера он выступал по телевизору, я тоже видел эту передачу. Показывали, как К. подъехал к телецентру на навороченном джипе с клыками, всё как положено у преуспевающих людей. Как стремительной спортивной походкой этот 60-летний покоритель многих женских сердец поднимается под аплодисменты на сцену, чтобы ответить на вопросы собравшихся в студии. И как потом дружно зашикали на него, когда на вопрос «как выжить?» в наше сложное время, он посоветовал заняться лечебным голоданием, а ещё... пить воду, взявшись разъяснить опешившим зрителям, насколько полезна и целебна самая обыкновенная вода из-под крана, – люди просто по лени своей не хотят знать всех её свойств.

Неделей раньше телевидение, кажется, следившее за каждым шагом удачливого и дома, и на Западе К., уже на другом канале показало в виде репортажа, как он питается: завтрак в загородном доме, обед в ресторане в центре, ужин – в другом ресторане.

К. оказался гастрономически изыскан, он разбирался в кухнях мира. Сквозь очки он изучал меню и, словно делая важный выбор в жизни, собирал складки у переносицы. Важно было не ошибиться. Кажется, передача называлась так: «Культура еды».

Омлет с беконом, жареная свинина, говядина, пицца с тунцом, форель, запечённая в фольге, черепаховый суп, солянка, баранья нога, плов, разнообразные фрукты, какие-то невероятные пирожные на десерт, красное и белое вино, дорогой коньяк – воды на столе у К. замечено не было. И при всём при том он всегда оставался подтянутым и моложавым. С его загорелого лица не сходила белозубая улыбка.

Стёпа не мог скрыть своего восхищения: «Как здорово выглядит!» Наташа добавляла: «А как замечательно говорит!»

Я вдруг увидел, что Стёпа точно так же, как К., надевает очки и морщит лоб. И улыбается, как он, здоровой широкой улыбкой. И ещё я подумал, что писатель, которого видела Наташа, наверное, был толстым или, по крайней мере, совсем не выглядел спортсменом. И тот, про книгу которого я рассказывал Стёпе, тоже отличался лишним весом и выдающимся

брюшком. Ну да, припоминаю, был портрет на задней обложке – лицо круглое, кажется, двойной подбородок... Об остальном можно только догадываться. Ну как же, в самом деле, такие люди могли понравиться Стёпе? Чему они могут учить, если выглядят так плохо?

Несомненно, К. для Стёпы являлся авторитетом. Он старше и вполне годится на роль гуру, к каждому слову которого надо прислушиваться. Вот уже Стёпа приобщился к его житейской мудрости и принялся цитировать, выдавая готовые афоризмы. Однажды я услышал от него: «Кто ничего не делает, тот ставит цели в жизни». В другой раз, в гостях у Барометровых, он заявил: «Человек отравлен своим собственным существованием». И уже непонятно было, цитирует он кого-то или говорит от себя. Можно было поговорить на эту интересную тему, но разговора не получилось. Говорил один Стёпа и, кажется, обо всём сразу: о мужестве одиночества и унижительном давлении толпы, о социальной обезличке и скромном индивидуальном счастье, о медитации и восточных техниках расширения сознания, о добровольном отшельничестве и величии духа. Это был монолог человека, который долго собирался сказать что-то важное – скорее для себя всё же, чем для кого-то ещё. Его слушали. Во всём этом было что-то неуловимо знакомое для меня, оно крепко сидело в каких-то образах, маячивших перед глазами, и только на следующий день я сообразил, что слова Стёпы воспроизводили одну из его книжных полок, где наверху стояла икона, а ниже лежали друг на друге объёмистая библия с гравюрами Доре, новый завет и Иоанн Кронштадтский. Удивительно, но в проповеди Стёпы можно было обнаружить странную смесь православия и дзен-буддизма. Впрочем, на это не обратили внимания.

Чтобы я мог улыбаться, как он и К., Стёпа решил направить меня к Гале Зубак, а точнее, к стоматологу Серёже. Долго уговаривать меня ему не пришлось. Я уже понимал, что с определённого возраста надо как-то поддерживать себя в мало-мальски приемлемом состоянии. Иначе говоря, чтобы жить дальше, нужны подпорки. Зубы как раз и можно было отнести к таким подпоркам. Я решил сходить даже любопытства ради, может быть, ещё и для того, чтобы просто увидеть Галю Зубак с Серёжей.

Однако Гали Зубак у Серёжи я не обнаружил. В приёмной меня встретила стройная миловидная девушка в белом халате с серьёзными серыми глазами и закрытым для вопросов светлым лицом. Собственно, вопросы задавала она. Её сухие, потрескавшиеся губы с методичной скукой заполняли анкету: мой возраст, место работы, номер телефона, наличие хронических заболеваний... Потом она вышла из-за стойки, сказала: «Подождите минутку» и в самом конце коридора исчезла за дверью. И коридор, и дверь – всё было белого цвета. Тишина стояла такая, что было слышно, как жёлтые лампочки в потолке ведут безуспешную борьбу с этой неестественной белизной. Через минуту дверь и открылась.

– Сергей Александрович ждёт вас.

Окна просторного кабинета с двух сторон закрывали от зимнего солнца жалюзи. Сергей Александрович, он же просто стоматолог Серёжа, сидел за небольшим стеклянным столиком и рассеянно перелистывал автомобильный журнал. Увидев меня, он отложил его в сторону и жестом пригласил садиться, но не туда, куда я собрался, а в кресло напротив.

Серёжа оказался невысокого роста, у него была небольшая, коротко остриженная голова. Он принадлежал к неприметному белёсому типу – таких врачей можно встретить в больничных коридорах; полностью сливаясь со своими белыми халатами, они становятся неотличимы друг от друга и либо спешат куда-то, сунув руки в карманы, либо напряжённо курят на лестничной площадке между этажами.

Глядя далеко мимо меня, Серёжа заговорил:

– Наша жизнь складывается так, что за бытовыми проблемами мы, к сожалению, забываем о собственном здоровье...

Вот оно что, решил я, он мне сначала лекцию прочитает.

Серёжа поморщился и продолжил:

– Мы покупаем квартиры, дачи, машины, ездим отдыхать за границу, а о зубах забываем. Но наступает момент, и они напоминают нам о себе...

Я слушал его и понимал, что он говорит со мной как россиянин с россиянином. Признавая за мной гражданина, он в очередной раз пытался напомнить мне азбучные истины. Мне стыдно было ему признаться в том, что я не покупаю квартир, дач, машин и не езжу на отдых за границу. Я не хотел его разочаровывать, – ведь он в меня верил! – и потому терпеливо слушал.

Серёжа продолжал агитировать, но делал он это слишком уж буднично, затверженным каким-то тоном. Кончилось тем, что он вызвал медсестру (ту стройную и миловидную) и попросил принести «прайс» для ознакомления. Простых «ценников» или «прейскурантов» в этих стенах уже не существовало. Красивое слово «прайс» Серёжа произносил ещё более красивым образом. Он безбожно картавил, и у него выходило «п'айс» – с некоторым даже шармом и несомненной значительностью.

Я пробежал глазами заламинированный список расценок на зубоврачебные работы. Квартиру или дачу, согласно этому «п'айсу», купить, конечно, нельзя было, но вот на отдых в Турции или, скажем, на старый битый «жигулёнок» на ходу вполне хватило бы.

– Ну что же, хорошо, – сказал я, вставая. – Главное, что я наконец-то к вам попал, и теперь знаю, что мне делать.

– Вот и замечательно, – протянул Серёжа.

– Я обязательно позвоню.

– Да, надо предварительно записаться.

– Разумеется.

– Вы не затягивайте с этим...

– Да куда уж тут затягивать! – воскликнул я, пятась к двери, и даже поднял руку ко рту, изображая нечто неопределённое.

С тем мы расстались. Собственно, до осмотра так и не дошло. Мне показалось, что дела у Серёжи идут неважно.

О своём посещении мне пришлось отчитаться перед Стёпой и Наташей, – почему-то они с любопытством ждали моего рассказа. Я мялся, как мог, и обещал им, что, конечно же, на следующей неделе возьмусь за лечение. Неважно, что зубы не болят, вот когда заболят, тогда может быть поздно. И тут я вспомнил про Галю Зубак: куда она подевалась?

– А ей Юра запретил работать, – сообщила мне Наташа.

– Её муж, – уточнил Стёпа.

Я вспомнил хромого мужа Гали: чернявый, глаза опущены вниз, осторожные и в то же время лишние движения рук за столом, – мне он представился несколько сумрачным, неразговорчивым; я всего-то и слышал несколько слов, сказанных низким голосом.

– А кто он?

– Биз-нес-мен, – отдельно и с улыбкой произнёс Стёпа.

– Ой, ну какой там бизнесмен? – запротестовала Наташа. – Просто разными делами человек занимается.

– Товар возит: книги, бензин, косметику, свечи, – пояснил Стёпа.

– Ну и что? – не понял я.

– Он сказал Гале: да бросай ты эту работу! Что ты там зарабатываешь? Копейки! – рассказывала Наташа. – Сиди дома, занимайся хозяйством и ребёнком, – я вам всё обеспечу... Вот такой человек Юра.

– Кто у них – мальчик, девочка?

– Девочка. В третий класс ходит.

Надо же... Сколько лет прошло, а я их не заметил.

– Забавная такая девчонка – всё спрашивает, всем интересуется. Я прихожу к Гале в гости, а она ко мне бежит, руки в стороны раскинула: «Тётя Наташа! Тётя Наташа!» Я ей: «Лизонька, милая, какая я тебе тётя Наташа? Зови меня просто Наташей, а не то я обижусь!»

– Нет, это правильно... – Стёпа заворочался на диване. – Правильно, что она перестала ходить на эту дурацкую работу. Только негатив домой приносить, – зачем? Это же отрицательная аура... Нет, Юра прав.

– Да, а ты знаешь, что он ещё придумал? – Наташа взглянула сначала на меня, потом на Стёпу. Стёпа кивнул ей:

– Расскажи, это интересно.

– Он вообще хочет Лизоньку из школы домой забрать, – сказала Наташа. – Чтобы она дома училась.

– А как же аттестат? – спросил я. – И потом?

– Он говорит, я ей всё куплю, любой аттестат и диплом...

– Вот-вот, слушай! – Стёпа потирал руки от удовольствия.

– А то приходит ребёнок домой весь в слезах, – тройку поставили по какому-то предмету. Он говорит: моей Лизоньке? Какие-то там дешёвые учителя, которые кое-как перебиваются от зарплаты до зарплаты?

– Да я их всех, говорит, с потрохами куплю! – не сдерживается Стёпа. – Приду в эту поганую школу и спрошу: тебе сколько денег надо? Швырну им пачку прямо в морду, но чтобы у ребёнка моего пятёрка была!

– Ну потише ты, разошёлся! – пожурила его Наташа.

– Нет, ну он же так говорит! – пожал плечами Стёпа. – Нечего, говорит, в школе время терять – ничему хорошему эти дешёвки не научат!

Он вроде бы и смеялся, и говорил серьёзно – с каким-то непонятным восторгом к этому случаю относился.

– Вот такой человек Юра, – вздохнула Наташа с улыбкой и мечтой.

– Интересный случай, – согласился я.

Зачем они всё это пересказывали мне? Не знаю. Наверное, хотели поделиться любопытным персонажем. Стёпа словно вцепился в него и уже не отпускал, вспоминая через раз. Наташа тоже нашла себе занятие по нраву, перешедшее в привязанность: Юра построил дом за городом, и покуда он днём работал, она приезжала к Гале Зубак в гости. Теперь бывало и так: я приходил вечером к Стёпе, а Наташа отсутствовала. «Задерживается», – пояснял он.

Мы сидели за неизменным чаем, спокойное молчание разбавляя телевизором и односложными замечаниями. Но вот, наконец, появилась Наташа, и всё вдруг менялось самым волшебным образом. Они сходились при мне и переключались на Галю Зубак и её мужа. Наташа принималась тараторить про то, какая чудная у них девочка Лизонька и снова упиралась в её упрямство: «Какая тётя? Я просто Наташа, договорились?» Ребёнок никак не мог взять в толк, с чего это взрослая тётя набивается ей в подружки.

Стёпа подхватывал тему, но не дети его привлекали, к ним он был равнодушен и всячески сторонился их, – он возвращался к Юре, к его житейской философии. Он уже не изображал его, а наладился исполнять непримиримым низким голосом как суровую песню: «Мужик должен!.. Баба должна!..» Обрывочное бормотание выглядело директивой – речь шла о некоем принуждении населения к порядку. Уже Стёпа брал на тон выше и резче, выступая в поддержку какой-то неясной идеи, и даже срывался голосом, как если бы он переусердствовал в качестве актёра на кинопробах, и что бы он ни говорил, а слышно было одно и то же: «Баба должна!.. Мужик должен!..»

Непонятную комедию закрывала Наташа. Ей надоедали убогие заклинания про «бабу» и «мужика», а выражение «должен» она вообще терпеть не могла.

– Хватит гудеть. Никто никому ничего не должен, – напоминала она покрасневшему от напряжения Стёпе.

– Ну да, конечно, – миролюбиво соглашался он и успокаивался.

Впрочем, всё это походило на домашнюю забаву – своего рода необязательные упражнения после ужина. Однако подобные случаи повторялись всё чаще и уже не выглядели просто шуткой.

Уже не только я, но и другие стали замечать, насколько изменился Стёпа. Он начал голодать по определённым дням, совсем отказался от мяса. Значительно похудел, хотя никогда не выглядел толстым или хотя бы расположенным к полноте. Окончательно превратился в своеобразного эзотерика, любителя ни к чему не обязывающих разговоров. К себе в гости теперь, кажется, не звал никого, на один-два случая в году делая исключения только для меня. Если же сам к кому-нибудь выбирался, показываясь с той же установленной им периодичностью, то разворачивал целый диспут на тему. Тем было всего две: проституция и наркотики. Шло время, но темы не менялись: то «проституция» выходила на первое место, то «наркотики» брали верх. Говорил убеждённо, даже страстно. Не обличал вовсе, а напротив, с упоением говорил, если не о пользе и необходимости первого и второго, то как об интересном явлении, несомненно заслуживающим внимания всех собравшихся. Ему как-то вяло возражали или не возражали совсем – никто, кажется, не верил в серьёзность его слов. Впрочем, споры иногда возникали. В это безнадёжное дело вдруг ввязывался Костя Барометров, при поддержке своей жены отвечая Стёпе по всем пунктам. Подвыпивший Пётр Недорогин наоборот брал его сторону, заявляя: «А я поддерживаю», и добавлял в каком-то одному ему понятном признании: «Он единственный честный человек среди нас». Стёпа уже и горячиться начинал, словно ему впустую приходилось доказывать совершенно очевидные вещи. Уже слышались знакомые выражения «мужик», «баба», по которым можно было определить степень его взволнованности; Стёпа особенно напирал на «бабу»: «баба должна», «баба своего не упустит». Он так часто всё это повторял, с таким обличительным пафосом, что в голове поневоле возникали сбивчивые мысли: «А кто же ему тогда Наташа, сидящая рядом с ним? Кем приходится? Бабой? Женщиной? Женой? Ещё кем-то? Или к ней его слова не имеют никакого отношения? И вообще, кто тут кому мужик и баба, и есть ли таковые среди нас?»

Отвечая на все вопросы сразу, Лена (а она в тот раз решила-таки прийти к Недорогиным) мне потом в некоем обобщении, как бы уже не по одному этому поводу, заметила: «Скоро и семьи никакой не будет... Будут только бойцы и команды». Но это было потом, когда мы возвращались домой, а пока что возникшую неловкость исправляла Наташа. Молча, но внимательно следившая за накалом страстей в этом непонятном поединке Стёпы с самим собой, она, как заинтересованная болельщица своего мужа, вдруг говорила ему: «Ты потише, потише...» И он затихал, словно опомнившись и сообразив, что, пожалуй, слишком разошёлся. Его покрасневшее лицо постепенно приходило в комнатную норму. Тут влезал Пётр Недорогин: «Всё правда, каждое слово верно». Он пожимал Стёпе руку. Косте Барометрову оставалось только развести руками. Стёпа довольно потирал руки: он получил удовольствие от игры, закончившейся с нужным ему счётом. От его резкости не оставалось и следа; он свободно откидывался на спинку дивана и переключался на каких-то маргинальных персонажей, знакомых его знакомых, которых он, скорее всего, никогда не видел, но зато слышал столько интересного, что рассказывать ему о них непременно надо было с набирающей силу восторженностью. Опасность спора, таким образом, возобновлялась, но теперь возможные разногласия сглаживались спасительной иронией.

В гостях Стёпа практически ничего не ел, довольствуясь двумя-тремя ломтиками сыра и половиной бокала красного вина. Сыр он в течение вечера изредка пощипывал, а бокал держал в руке, – он ему служил своеобразной точкой опоры. Закрадывалось подозрение, что

прежде чем пойти в гости, Стёпа просто-напросто плотно отобедал у себя дома и теперь расслаблялся. Ему был важен разговор; если же разговора, переходящего в спор, не случалось, он откровенно скучал. Оживлялся лишь при появлении чая, то есть ближе к концу вечера, – пил и вторую чашку, и третью, в паузах между мелкими глотками замирая на несколько секунд с закрытыми глазами. Не отказывался от конфет и шоколада. Если на столе вдруг оказывались орехи или бананы, то со всей определённой можно было утверждать, что вечер для него удался совершенно.

Наташа, в отличие о Стёпы, ела, что и все, но водку тоже не пила, предпочитая вино. Она высказалась однажды, что в известном смысле водка – это слишком русский напиток. Понять её можно было так, что ей нет нужды повторять чужие ошибки, – ей хотелось благородства.

Я как-то поинтересовался у Наташи, именно у неё, а не у Стёпы, – что это он так выступает, для чего говорит на эти темы, неужели это действительно его так заботит? Она рассмеялась и сказала: «Ну вот ещё, он же так просто, *всего лишь заводит* людей, а ты и поверил?»

Нет, я только усомнился. Ответил мне потом сам Стёпа: «Я их провоцирую, чтобы они высказались, раскрылись, чтобы не сидели, как сонные мухи!»

Теперь у него появилось новое заклинание, которое он повторял от случая к случаю, адресуясь к невидимому противнику – но чего? – его взглядов и образа жизни, наверное. «Не спать! Не спать!» – убеждал он кого-то, словно искал оправдание своему мировоззрению.

Он как-то потяжелел в словах, стал грубее; можно было говорить о его одержимости. Всё указывало на некоторые особенности характера Стёпы, к которым прежде я относился снисходительно.

Ушла присущая ему лёгкость. Давняя, ещё юношеская округлость лица, даже его припухлость, в которой пряталось неведение будущих открытий – чистый лист, начало пути, – сменилась заострённостью, резко очерченным контуром и вылезшим на первое место упрямым лбом, прогнавшим волосы к затылку. Да, мы все потихоньку расставались с волосами, но не с воспоминаниями. Мы ещё слишком хорошо помнили прежнего Стёпу, его иронию, точность замечаний, которые он делал.

Один из шумных, бесшабашных и весёлых вечеров, каких было много в короткую эпоху равенства положений, чувств и ожиданий. Кажется, самое начало 90-х. Разумеется, лето. Мы в гостях у Кости Барометрова. Плотная компания в полном составе, скромное застолье, возбуждённые голоса, череда шуток, нанизываемых на бесконечную ось разговора, переходящего в какой-то сладкий гвалт, и вдруг тишина – редкие секунды, в которых обнаруживает себя работающий телевизор. Концертный зал, рукоплескания, чествование модной в то время поп-группы, совсем уж простоватой четвёрки ребят, знающих как всего лишь тремя аккордами вызвать восторг у созревших старшеклассниц. Ребята пели в демократичном стиле «я пришёл, а ты ушла – вот и все дела».

Представительная женщина у микрофона, в которой строго и официально всё: причёска, очки, её синий костюм и особенно красная папка. В этой папке хранится самое главное: когда она торжественно открывается и женщина приподнятым голосом начинает читать: «От министерства культуры...», вынося тем самым какую-то благодарность, заявляя о государственной поддержке, признании, о всеобщем почёте и уважении, каковые не преминули выразиться в нарастающих аплодисментах возбуждённого зала, тогда-то и подал свой негромкий голос Стёпа: «Вот даже до чего дошло...»

С ленивым удивлением проговорил, словно очнулся от дремоты и выдохнул всю фразу ровно, как приговор: «Вот даже до чего дошло...»

Вышло смешно; вышло так смешно, что эти слова потом долго вспоминали, они вдруг стали пригодными на всякий другой случай – подобный и созвучный – и уже использовались как притча, как ироничный комментарий к небольшому бытовому разочарованию: «Вот

даже до чего дошло...» С годами эта фраза выросла и применялась нами в любой ситуации; менялись смысловые ударения, интонации, верным оставалось признание свершившегося факта и невольное с ним примирение: ну что тут теперь поделаешь, если сделать всё равно ничего нельзя...

Дошло уже до многого. Про одного замечательного актёра, интеллигентного человека, памятного по ролям таких же людей, в новостях как-то сказали, что его «даже воры в законе уважали». Слова эти обращали на себя внимание; о времени, в котором мы живём, они говорили гораздо больше, чем любые другие свидетельства. «Самое высшее уважение, какое только может быть, – подытожил Стёпа. – Никакие награды с ним не сравнятся. Подумаешь там, какие-то коллеги по цеху или простые зрители, а то, страшно подумать, «воры в законе»! Это же самые уважаемые люди! Зуб даю, падлой буду!»

Мы заходили в магазин, чтобы купить чего-нибудь к ужину, и Стёпа застывал в проходе между длинными рядами, заставленными бутылками, банками, пакетами и коробками. «Человек – это вместилище потреблённых и ещё не потреблённых товаров, – размышлял он вслух. – Интересно, что останется от этого времени? Выражение «на кассе» и бандиты – больше ничего, по-моему».

До этого мы побывали в магазине электроники, где Стёпа приглядывал себе новый телевизор с большим экраном. Ему хотелось уточнить некоторые характеристики, но продавец на месте не оказался. Наконец остановили какого-то шустрого малого, но он сказал: «Обращайтесь к любому свободному менеджеру» и исчез. Пошли бродить по залу в поисках. Нашли парня, стоящего у компьютера и сосредоточенно тыкающего пальцами в клавиатуру.

– Вы продавец? – спросил Стёпа.

– Я менеджер, – с некоторым вызовом в голосе, ответил парень, не отвлекаясь от своего занятия.

– Про телевизор нам расскажете?

– Нет, я по компьютерам.

– А кто про телевизор расскажет? – не отступался Стёпа. – Есть такой продавец?

– На кассе спросите, там свободные менеджеры могут быть.

Отправились «на кассу», но «на кассе» ни свободных менеджеров, ни хотя бы просто продавцов не оказалось. «Как распался Советский Союз, так и люди сразу куда-то подевались!» – удивился Стёпа. Смутно надеясь на удачу, поплелись обратно, и наконец-то встретили человека, скромно стоящего как раз у приглянувшегося Стёпе телевизора.

– Вы продавец? – спросил Стёпа.

– Да, менеджер. Хотите что-то узнать?

– Да, хотим... вот про эту модель...

Однако ничего нового про телевизор этот менеджер в жёлтой майке с застеклённой подписью-лоджией рассказать не смог, ни на один вопрос Стёпы не ответил, только соглашался с ним или осторожно говорил: «Надо будет в паспорте посмотреть». Зато спросил: «Будете покупать?», не забыв несколько раз добавить: «У нас их очень хорошо берут».

Миновав пресловутую кассу, мы выходили на улицу. Начинался дождь. Я прятался под раскрытый зонтик, предусмотрительно захваченный из дома. Стёпа зонтов терпеть не мог, у него их никогда не было. Зонт сковывал ему руки, мешал, принуждал и обязывал. Я только раз в жизни видел его с зонтом: он держал его как потухший олимпийский факел, от которого ему надо было срочно избавиться, передав хоть кому-нибудь, – смотрелось это достаточно нелепо.

Я принаравливался к его быстрому шагу и старался прикрыть от дождя. Он был рядом и рассказывал мне и себе: «Менеджеры они... Менеджерами их называют разве что в утешение, чтобы они не сознавали своего безнадёжного положения. Настоящие менеджеры выше», – он улыбался и поднимал глаза кверху.

Новое время породило смешные выражения: «лазерное шоу», «силовики», «креативный», «харизма», «возможные риски» – всех не перечислить... Тогда Стёпа говорил так: «Кому риски, а кому ириски». Это было время, когда слова или меняли своё значение, или просто ничего не значили, иные и вовсе бесследно исчезали. «Понимаешь, – объяснял мне Стёпа, – искренность, доброта – всё продаётся. Только когда их можно продать, они имеют смысл».

Однажды он сказал: «Мы сейчас живём для того, чтобы не жили те, кто будут после нас». И я поразился его словам: откуда он это узнал? Как догадался?

Стёпа никогда не интересовался политикой, он на неё лишь отзывался – исключительно в ироническом преломлении. Как-то мы его позвали на выборы, нам представилось, что решается многое в нашей жизни. «Ну нет, – сказал он, – я в это лото не играю. Тут голосить надо, а не голосовать!» Всё же уговорили, несмело рассказывая что-то такое про гражданское общество и его возможности. Так он потом спустя годы подначивал нас: «Ну как, выиграли? С каким счётом?»

Я бы мог сказать о нём ещё больше. Я и знал его больше, чем остальные. За него говорила университетская пора – тот самый чистый лист, начало пути, округлость и мягкость во всём – в лице, в словах, в движениях. «Лучше пирог с друзьями, чем говно одному», – говорит мне Стёпа и достаёт из своего портфеля пластмассовый угольник, – ножа у нас нет. Сцена в раздевалке главного корпуса, где мы дежурируем. У нас это называлось «дежурить на вешалке». Слойки с повидлом и томатный сок из буфета, а ещё докторская колбаса и хлеб. Нас четверо – четыре фигуры застыли в тёмных глубинах нависающих пальто и курток. Зима, скоро Новый год. Сегодня утром была лекция по философии и теперь перед нами стоит настоящая дилемма, за решение которой берётся Стёпа, – его прозрачный ученический угольник с делениями, незаменимый помощник в черчении, в данном случае вполне может сойти за нож, чтобы хоть как-то порезать докторскую колбасу. У Стёпы это получается не очень ловко. За дело берётся Рустам, он живёт в общежитии, у него большой опыт, есть навык, ему приходилось решать и не такие задачи.

Один из нас постоянно отвлекается на зов студентов, нетерпеливо стучащих номерками по барьеру. Вот и я выношу пальто, а принимаю куртку. Скоро закончится пара, наступит большой перерыв и народу заметно прибавится.

Отмеренная делениями колбаса ждёт. Есть время для передышки. Тогда Стёпа был неприхотлив в еде. А однажды прямо на моих глазах, сидя у себя на кухне, за один присест уничтожил палку копчёной колбасы – всего-то десяти минут ему хватило! Предлагал и мне поучаствовать, но я отказался, ограничившись чаем. Он так был увлечён разговором, вернее, тем, что я ему рассказывал, что не заметил, как добрался до самого конца – уже ножом верёвку резать начал, держась за сморщенный остаток оболочки, только тогда опомнился! Выглядел растерянным, сам себе не мог поверить в то, что сделал, а когда сообразил, то расхохотался. Мне тоже, правда, было смешно: всё нарезал и нарезал кружочками, подбрасывал в рот, головой кивал, переспрашивал меня: «да ну?» и вот как получилось.

Звенит звонок, и из коридора высыпает народ. Шумно, весело. Теперь только успевай принимать и подавать верхнюю одежду. Подходит Шипулин, знакомый Стёпы, его товарищ по хоккейной секции. Он с интересом смотрит, как мы трудимся. Нет, даже так: его забавляет Стёпа в неловкой роли гардеробщика. Его в нём веселит буквально всё – то, как он берёт номерок, как идёт к вешалке, как снимает пальто, отдаёт его, а потом принимает и снова несёт... «Глядите, как Соболев работает!» – восклицает Шипулин. Стёпе и самому смешно, но он держится, неоправданно хмурясь, – такое внимание ему не очень приятно. Вряд ли кто-то на него смотрит. Однако дело совсем не в этом.

Образуется длинная очередь: Стёпа явно не справляется с потоком, он просто не успевает. Он выглядит одновременно рассеянным и потревоженным. Начинает путаться: принёс девушке мужское пальто, а парню женскую шубу... Шипулин, комментируя, веселится

волю: «Смотрите, что Соболев делает!» Стёпа пытается разобраться и исправить ситуацию, ему подсказывают: «Нет, не то, – другое!» Слышится голос из очереди: «А побыстрее там нельзя?»

Уже у него свалилось на пол чьё-то пальто, покатила шапка, посыпались номерки – так бывает, когда задёргают с разных сторон. Уже Стёпа топчётся по этому пальто, подслеповато оглядываясь, а потом – никуда не глядя... Мне тоже особо некогда разглядывать, что там у него происходит, – я пока что успеваю. И вот пауза, и неожиданная развязка.

Устав от напряжения, не понимая, чего от него хотят, Стёпа вдруг становится безразличным; я бы сказал, странно безразличным и даже отрешённым. Наверное, так он защищался. Он наклоняется, поднимает это тёмное пальто с оторванным хлястиком и следами от своих подошв на нём. Он выносит его, чтобы отдать – но кому? Непонятно. Он выносит его как какое-то больное животное, завернутое в плотную тряпку, неизвестное науке и оттого неприятное, – брезгливо, на вытянутой руке. Шипулин ещё успевает весело прокричать: «Давай пошевеливайся!» и вдруг разом меняется в лице. Стёпа стоит у барьера и поводит рукой, предлагая животное пальто очереди. Помрачневший Шипулин расталкивает всех и выхватывает его у Стёпы. «Ну вы, ребята, и дежурите...» – цедит он сквозь зубы и быстро уходит. Стёпа не сразу понимает, в чём дело, а когда до него доходит, то начинает смеяться.

Шипулин недолго обижался, и вскоре они помирились, а я спросил у Стёпы, неужели он не видел, чьё пальто вынес? «Нет, – честно признался он. – Я тогда вообще ничего не видел в этой сутолоке. Да и откуда мне было знать, что это именно его пальто? Я вообще не замечал, в чём он ходит. Мы же на катке встречались, уже в хоккейной форме».

Вот таким беспечным был Стёпа раньше. И казалось, что таким он будет оставаться всегда. Во всяком случае, менее всего в нём ожидалась какая-то обострённость. С кем он боролся и за что – эти вопросы оставались без ответа. Не было у нас угольника с делениями, чтобы верно нас разметить и привести к общему знаменателю.

Он уже не просто говорил, а учил и даже обвинял. Создавалось впечатление, что он может всё предугадать и знает точную формулу, по которой следует жить – не только ему, но и всем. В его выступлениях, несмотря на кажущуюся уверенность, ощущались внутренние противоречия. Стёпа словно для чего-то созрел, ему не хватало воздуха. Непреклонно обособляясь, он выпадал из круга привычных связей и настоящего понимания. Всё это, конечно же, совершалось постепенно, не сразу, пока однажды не прорвалось.

Это произошло осенью, в середине октября, в ничем не выдающемся году привычных надежд и стабильных обещаний уже нового века. Месяц выдался ясным и сухим. Затянувшееся расставание с летом радовало солнечными бликами в окнах домов, сквозной синевой неба, бодрым холодком, ворохом опавших листьев и уходящими, а потому особенно острыми, немного грустными, запахами. Период равновесия, подведения итогов, существования между – и даже не поймёшь, между чем, – настолько хорошо и спокойно на душе, что самому себе представляешься как никогда правильным и достаточным без всяких оговорок.

И потому закономерна встреча: мы собираемся у Недорогиных. Пётр звонил и приглашал. С ним я виделся в начале лета, тогда же с Костей Барометровым, у Стёпы был в гостях ранней весной, а вот они не видели Соболевых и того больше.

По укоренившейся привычке я прихожу в гости один. У Петра новая просторная квартира, у Кости новая, хорошо оплачиваемая работа, только у меня всё по-старому, хотя нет, позже у меня обнаружится новый взгляд на происходящее.

Ждём Соболевых. И вот они появляются. У Стёпы новая кожаная куртка: светло-коричневая, с рыжинкой под осень, она пахнет аккуратной работой, качественными швами, скользко блестит, словно чем-то намазана, и скрипит при каждом движении. Кажется, что Стёпа наслаждается этим скрипом. Подходит к большому зеркалу, поднимает руку, проводит ладонью по короткому ёжику волос, опускает руку, тянет вниз молнию – будто показы-

вает купленный товар. Удивительно, но с годами Стёпа нисколько не изменил своей любви к вещам. Он снимает куртку и смотрит на меня: ну как я, оценил? Я поощрительно улыбаюсь.

На Стёпе ярко-красная трикотажная рубашка с коротким рукавом – это поло у него тоже новое. Цвет лица под стать рубашке, различие в оттенках – в лице прячется влажная темнота, свидетельствуя о полученном загаре. В глазах появился какой-то лихорадочный блеск. Стёпа был наполнен внутренним ликованием и выглядел худее своего идеала, самого К., которого на днях показывали по телевизору, – у того вдруг оказалась дряблая, старческая шея, выглядел он далеко не образцово.

В Наташе новое – самое главное: она заметно поправилась, у неё круглое лицо, солидарное с полной луной. Загар не шёл ей на пользу, а старил и упрощал её до маленькой железнодорожной станции, где она вполне могла бы зазывно торговать крымскими яблоками перед составом, сделавшим остановку на три минуты.

Они вчера только вернулись с отдыха в Крыму. На стол ставится вино с этикеткой «Массандра». Наташа принимается рассказывать мне о Толике, – каком Толике? – том самом, который благоговейно внимал каждому Стёпиному слову, и перед которым за это в свою очередь едва не преклонялась сама Наташа: «Какой парень! Ты бы его видел... Какой парень!»

Её восклицания прерывает рассказ Стёпы об очередном необычном персонаже, – если верить его словам, человеке-легенде, живущем в одном с нами городе. Вся его необычность состояла в том, что ему было пятьдесят восемь лет и раз в год, на свой день рождения, он собирал у себя гостей, для чего специально снимал одну из комнатных дверей, клал на пол и накрывал на неё, как на стол, – такой вот радушный хозяин.

– Только на таких условиях к нему можно в гости попасть, – утверждал Стёпа.

– Вот ещё, – хмыкала Катя, жена Кости Барометрова. – Я что, например, должна на полу сидеть?

– Только так!

– Это же так неудобно. А если я не хочу?

– Тогда «до свидания»!

– И в чём же тут смысл? – не понимала Катя.

– В том-то и дело, что нет никакого смысла! – хохотал Стёпа. – Вот такая у него традиция! Если хотите, причуда...

– Может быть, он больной? – не отступалась она.

– Ну что ты, Катя, – подавала голос Наташа. – Александр Аркадьевич очень интересный человек, он – врач...

– Уже не работает, – поправлял её Стёпа.

– Не важно... В общем, что напрасно говорить, если человека совсем не знаешь...

– Я не пойму, – волновалась Катя, – у него что, стола дома нет?

– Конечно же, есть! – смеялся Стёпа.

– Зачем же тогда дверь снимать?

– А у него столик маленький, – предположил Пётр Недорогин. – Всех за него не усадишь.

– Просто такой оригинальный человек, – замечала его жена Ира. – Вот хочется ему так и всё тут!

– Подождите, – встревал Костя, – мы спорим неизвестно из-за чего – как будто в гости к нему собрались...

– Да мы не спорим, – говорил Стёпа, – мы просто разговариваем.

– Ну да – любопытный экземпляр. И где ты таких находишь?

– Я их не нахожу, Костя. Ты вроде как иронизируешь...

– Какая уж тут ирония!

– А напрасно. – Стёпа вдруг серьёзnel. – Я только хотел рассказать о человеке, у которого есть свои правила в жизни... который живёт по-своему и не от кого не зависит.

– Мы про таких уже слышали, – вздохнул Костя, но Стёпу уже было не остановить.

– А ты знаешь, как он проводит свой день? Он встаёт ровно в десять, принимает душ, обязательно бреется, не спеша завтракает, потом выходит на улицу, покупает в киоске свежую газету, поднимается обратно в квартиру, выпивает чашечку кофе и читает газету – от корки до корки. Потом надевает свежую рубашку, повязывает галстук, облачается в костюм, роскошный светлый плащ, на голове широкополая шляпа...

– Выглядит он просто великолепно! – не сдерживается Наташа.

– ... и в таком виде снова выходит на улицу – наносит визиты знакомым женщинам. Приходит с букетом цветов, коробкой конфет или бутылкой хорошего вина.

– У него жена есть? – спрашивает Катя. – А дети?

– С женой он давно в разводе, сын уже вырос и живёт в другом городе...

– Ты послушай, Катя, – говорит Наташа.

– Совершив свой обязательный обход, – продолжает Стёпа уже чуть ли не нараспев, – в хорошем настроении, он вечером возвращается к себе домой и обзванивает по телефону других знакомых женщин, беседует с ними и договаривается о визитах на следующий день...

– Прямо какой-то старый Дон Жуан, – улыбается Костя.

– Только хотела сказать, – прибавляет Катя.

– Ну нет, – морщится Стёпа, – не так примитивно.

– Вы только подумайте, – восклицает Ира, – ведь это у него самая настоящая церемония!

– Образ жизни, – отзывается Пётр.

– Ну да, – вступаю в разговор и я, – старой закалки ещё человек.

– Уникальный человек! – ставит жирную точку Наташа.

Неведомый нам Александр Аркадьевич определённо вырос в значительную фигуру. Возникал облик какого-то цельного индивидуума, неординарной личности, редких свойств человека, про которого мы, к стыду своему, ничего не знали – не знали просто по своей природной лени и нежеланию знать. Он жил среди нас, мог попадаться нам где-то на улице, а мы его не замечали! Нам всем стыдно должно было быть за то, что мы не знаем такого замечательного человека!

Наступила пауза. После такого волнующего рассказа надо было передохнуть, приводя свои мысли в порядок. Ира вытащила мясо из духовки, и тут меня вдруг осенило: они его прежние пациентки, он – гинеколог. Почему бы нет? Он же врач, так что всё может быть. Но я не стал делиться своими догадками – зачем? К тому же мне это было совсем не интересно.

Поговорили ещё немного о новой квартире Петра и новой работе Кости. Выпили водки. Стёпа по обыкновению в одной руке держал бокал с вином, а другой отщипывал сыр. Несколько общих слов о хорошей погоде – как символ умиротворения, устойчивого состояния, подведения некоторых итогов, и сразу же про ещё далёкий и уже близкий Новый год. Ну да, как встречать будем и где?

Стёпа заметно оживился. Стал что-то рассказывать про ёлку, но не простую, а кремлёвскую, про игрушки и подарки, запах мандаринов и бумажные снежинки на окнах.

Что-то мне не нравилось в нём, даже не знаю что... Какая-то отдалённая от меня торжественность. Почему-то близость к так называемым «людям из Москвы», на которых он равнялся. Вот так мне вдруг показалось.

– Да ерунда всё это, – сказал я. – В красном встречать Новый год или в жёлтом. Главное совсем в другом...

– В чём? – спросила Катя.

– В соблюдении определённого ритуала.

– Это какого же?

– А вот такого: в год свиньи надо обязательно убить свинью, в год собаки – собаку.

– Зачем? – спросил Костя. Он готовился к шутке. Шуткой всё и выглядело. Я был уверен в том, что говорил.

– Как зачем? – удивился я и, широко улыбаясь, сказал: – На счастье, конечно!

Стёпа повёл губами, изображая слабую улыбку.

– А собачку-то за что? – поинтересовалась Ира. – Жалко собачку.

– Так ведь её год, – пояснил я. – Ничего не поделаешь.

– И породистую, и дворняжку?

– Да любую – какая разница?

– А по-моему, наоборот, – возразил Пётр. Он встал, наклонился к газовой плите и закурил от конфорки. – В тот год, который соответствует животному, этому животному поклоняются, чтобы его задобрить.

– Правильно! – поддержала его Наташа.

– Полная ерунда! – скривился я. – Это распространённое заблуждение. Как раз всё иначе! Надо обязательно убить, чтобы забрать себе силу животного, только тогда проведёшь год в благополучии.

– Что за глупость! – не выдержала Катя.

– Подожди, – сказал Костя, – ты хочешь сказать, что без убийства невозможно счастье? Улыбки ещё были, хотя не у всех. Мне пришлось согласиться:

– Ну да, примерно это я и хотел сказать.

– А вот обезьяну убить? – вдруг спросил Пётр. – Как это сделать? Где мы её возьмём?

– И правда, интересно! – засмеялась Ира.

– Крысу не жалко, – заметил Костя. – Крысу можно.

– А вот петух, к примеру, – встрепенулась Катя. – Или курица, если хотите... Ну вот едим мы их, а что толку – где счастье?

– Где мне дракона отыскать – вот вопрос, – задумчиво произнёс Пётр.

– Уж и правда вопрос! – веселилась Ира.

– Змею раздавить, – сказал Костя.

– А с тигром как быть? – спросила Катя.

– Не всякую змею ногами раздавишь...

– Ребята, ну хватит! – взмолилась Наташа, ей эта игра не нравилась.

Стёпа не проронил ни слова. Я мог быть доволен. Теперь надо было остыть.

Прошло какое-то время, заполненное перестановкой приборов на столе и возникновением новых блюд. Стёпа зашевелился; некоторое напряжение в лице его выдавало. Потирая руки, он словно готовился к чему-то чрезвычайно важному для себя и всех, и всё, что было прежде этим вечером, оказывалось всего лишь прелюдией к его выступлению. Когда он заговорил – вначале ровным голосом, отмеряя слова в нужном ему порядке, а потом всё более и более увлекаясь, переходя к восклицаниям, – я понял, что слышу обновлённую версию старых разговоров.

Он обращался к своим постоянным, так уж сложилось, оппонентам Косте и Кате. Снова говорил о проституции и наркотиках. Убеждал, доказывал. Проститутки в его изложении были красивыми и стройными молодыми блондинками, весьма прилично зарабатывающими за одну только ночь. Они оказывали мужчине незабываемые услуги, творили в постели чудеса и поражали совершенством своего тела. Наркотики в этом деле являлись нелишней деталью, тонкой прослойкой между одним состоянием и другим; они продлевали удовольствие и подводили к новому порогу наслаждения.

Чета Барометровых была вынуждена обороняться и всё отрицать – но зачем и почему? С какой стороны ни посмотреть, было непонятно. Непонятно было, причём тут они и как

вообще оказались в такой дурацкой роли? Я вдруг почувствовал: что-то такое нарастает и будет не так, как всегда.

Стёпа был восторжен и строг. Говорил с таким напором, словно сам всё испробовал и проверил. Если для него это было забавой, то для всех остальных чем-то весьма серьёзным и уже не верилось, что это просто такой приколы.

Я взглянул на Наташу. Она была утомлена загаром и безнадёжным спором. Нет, её это совсем не унижало. Тут было что-то другое. В её надутым лице открывалось некоторое сожаление – но в чей адрес? Пётр брал сторону Стёпы, делая односложные замечания: «это точно» или «да так и есть». Костя и Катя продолжали сопротивление, они и не думали сдаваться. Всё это давно уже вышло за разумные пределы и приобрело болезненный оттенок – из-за яростного характера спора что ли... И тут вдруг высказался я – что-то меня толкнуло. Вот после этого восклицания Кати:

– Стёпа, ну ты же умный человек, разве можно говорить такую ерунду?

Не удержался, сказал, что думаю:

– Каждый год мы слышим одно и то же. То про каких-то маргиналов, которые должны на что-то воодушевлять, – вот только непонятно, на что. То про проституток... Надоело уже... Словно ты остановился в развитии...

Я запнулся; ни разу ещё мне не приходилось выступать против него. Стёпа выглядел так, словно его бесцеремонно оборвали в самый важный момент спора, нанесли неожиданный удар. Да я и сам не ожидал. Момент и правда оказался важным. Теперь он был вынужден обороняться.

– А ты!.. – вскрикнул он в раздражении. – Чего ты добился в жизни?

И всё разом изменилось. И никакие слова уже нельзя было вернуть. И я вдруг задумался: действительно, чего я добился в этой жизни? Кем стал? Что у меня есть?

Конец вечера помню плохо. Как-то всё скомкалось. Внешне выглядело как обычно, а по сути, стало совершенно иным. Взаимный осадок остался. Мы уже не говорили друг с другом. Говорили Пётр, Ира, Катя и Костя. Они шутили, словно ничего не произошло, – обыкновенный бой на ринге, и теперь недавние соперники снимают перчатки, пожимают друг другу руки и даже похлопывают по плечу, – мы вымученно улыбались им в ответ. Нас пустячной фразой пытались как-то соединить, но мы, отводя глаза, отвечали таким образом, чтобы ни одно слово нас не коснулось.

Вечер переходил в ночь, ночь оборачивалась сном. Кажется, мы возвращались в одном такси. И это тоже было похоже на сон: зачем ему было ехать, если он жил неподалёку от Петра и вполне мог бы дойти до дома пешком? Поддерживая случайный разговор с таксистом, через него же скованно попрощались. Я поехал дальше. Тогда я ещё не знал, что больше никогда не увижу Стёпу.

Сон оборачивался неожиданным испытанием, проверкой. Я пробовал. Меня пробуют. Нас пробуют. Больше ничего не помню. Я думал, что сон закончится и всё станет как прежде. Это сон, убеждал я себя, ничего не было на самом деле, время спасает, возвращает, лечит... Но тут сон заканчивается и наступает действительность.

III

Я включил свет и посмотрел на часы. Телефонный звонок рано утром, ещё нет семи. Голос был знакомый, но какой-то странный. Наташа. Слов её было не понять, не передать. Заторможенный, не проснувшийся, я запоздало выдохнул в трубку: «Как? Когда?» Короткие гудки били в голову – я был ошарашен.

Проснулась Лена:

– Кто?

– Наташа. Стёпа умер.

– Как это?

Никаких объяснений. Мы растеряны, мы в замешательстве. Надо что-то делать, надо узнать... Я точно слышал голос Наташи, она сказала это.

– Ты не ошибся?

Дурацкий вопрос. Если и ошибся, то только не я. Я повторяю слова Наташи про себя, ведь я их правда слышал.

– Господи, какой ужас! А что случилось?

– Да откуда я знаю?!

Я раздражён. Сейчас меня лучше не трогать. Я не верю. Я ничего не знаю. Мы не виделись целый год. За всё это время только моей жене однажды довелось увидеть Наташу. Они встретились случайно на улице. Это было весной, в начале марта. Наташа выглядела какой-то грустной. Лене показалось, что она была чем-то озабочена. В разговоре Наташа между делом посетовала: как же это, мол, Валера поступил со Стёпой, Стёпа ведь тогда обиделся.

Я, наверное, тоже. Мы не созванивались. Через несколько месяцев я всё же предпринял попытку, но тщётно: в квартире Соболевых не отвечали. Ещё раз я решился позвонить в день его рождения, в мае, и снова молчание. Тут же перезвонил родителям, и его мать, Татьяна Михайловна, сообщила, что Стёпа с Наташей отдыхают в Крыму. А потом я уже не звонил. Они отдыхают, меня не ищут, значит всё у них нормально – и чего мне надо?

Неожиданно сообразил, что надо сделать. Набираю знакомый номер, ещё не забыл. Наташа не отвечает. Ещё сохраняется какая-то возможность.

– А если Татьяне Михайловне?

– Так рано?

Снова дурацкий вопрос. Все вопросы дурацкие. Надо помучаться, побыть в неизвестности. Я рассказал тогда Лене о том, что повздорил со Стёпой. Она убеждала меня в том, что я был не прав, – мало ли какую чушь он нёс, ну и что? И Барометровы, и Недорогины Соболевых с тех пор тоже не видели и не слышали, и лишь иногда интересовались у меня: «Как там Стёпы поживают? Надо бы собраться...»

Звоню в девять часов и получаю сокрушительное подтверждение. У Татьяны Михайловны глухой голос, я проглатываю комок в горле: «Сейчас мы приедем».

Ноябрь. Мы выходим на улицу. Нам зябко. Мимо проходит женщина в облезлой детской зимней шапке с ушками: глаза заполнены тоской, из приоткрытого рта торчат два зуба – этакая старая белочка. Проезжает автобус с рекламой на боку: «Тёплые полы с интеллектом». Я вспоминаю, что сегодня день рождения Достоевского. Прямо напротив дома мы останавливаем маршрутку и садимся. Хочется понять, что происходит, но ничего не получается. Уже знаешь и веришь только вот в это: прошлое обязательно состоится, настоящее – неуловимо, будущего не бывает никогда.

Вот так вдруг понимаешь, что вокруг медленно и неуклонно смыкается мрак, который в итоге поглотит тебя. Жизнь состоит из мелочей, на мелочи и разменивается. Совсем скоро придёт зима.

Раньше я падал зимой, поскользнувшись на льду, три раза в году, я это хорошо запомнил, потом два, а потом, став постарше, стал падать один раз, и, наконец, совсем недавно я вдруг заметил, что не падаю уже несколько лет.

«Его внезапная страстность сделала своё дело». Откуда взялась эта фраза? Что она должна значить?

Остановка. Угол дома украшает номер 13. В этом доме и квартира 13 есть. Кто там живёт? Наверное, счастливые люди? Вот и радио у водителя веселится.

Если ты не занимаешься временем, оно начинает усиленно заниматься тобой.

Мир прост, говорил он, трава должна быть зелёной, небо голубым, юбки у девушек – короткими.

Однажды Лена пожаловалась мне, что ничего не чувствует, не воспринимает запахи. Запах кофе не чувствую, сказала она, апельсина. Пришлось обучаться. Она снимала с апельсина кожуру, разламывала его на дольки и старательно ела, чтобы понять, что это такое, поверить в то, что это и есть настоящий апельсин. Потом всё прошло.

Первое время, после того как мы поженились, было так: она хлеб резала как арбуз, а арбуз как хлеб. Кашу варила, словно трамвай вела. Поначалу меня это забавляло, а потом стало раздражать.

Как на самом деле живём мы? Я этого никогда не узнаю.

«Его внезапная страстность...»

Всякий человек своей жизнью выращивает в себе смерть, – он её заслуживает. Но ничего не заканчивается и получает продолжение.

Нам пора выходить.

У нас ещё оставалась какая-то надежда.

Дверь квартиры открыла Татьяна Михайловна. У неё осунувшееся лицо, она говорит тихо. Мы входим в комнату, и все умственные построения сразу же рушатся. Мы подавлены. Это тяжело. Слезы сдержать невозможно.

Что было неправильного в жизни? Неправильным вдруг оказалось всё.

Стёпа, одетый в серый в полоску костюм, лежал на столе. Отчаяние, мука, распад, успокоение – вот что читалось в его лице. Из-за того, что я не видел его год, всё происходящее кажется нереальным или уже случившимся как раз в то время. Он принадлежал уже прошедшему времени. А где я находился, я не вполне понимал. Пришлось себя уговаривать: всё это происходит только сейчас, но не в настоящем.

Неуместные и обидные подробности его лица опровергали в том, что это именно он. Словно кто-то наскоро делал его неудачную копию, рука постоянно срывалась, и вышло то, что вышло. Это было высохшее воспоминание о человеке.

Почему-то подумалось о несправедливости жизни. А когда она бывает справедливой? Несправедливость – закон. Это только потом начинаешь думать о закономерности.

Я уже успокоился и отвожу глаза в сторону. Лена вытирает платком слёзы и что-то спрашивает у Татьяны Михайловны. Я не слышу. Это неправда, думаю я. Недаром я его целый год не видел – это не он; он где-то прячется, так нужно для чего-то, чтобы отвлечь внимание, вот и соорудили этот макет. Мы ещё потом вместе пошутим по этому поводу, когда он вернётся. И вот ещё какая глупая мысль пришла мне в голову: у него было тревожное лицо, в том смысле, что не он волновался, конечно, а другие, глядя на него, должны были испытывать беспокойство. Так специально придумали...

Рак, объясняет Татьяна Михайловна, рак прямой кишки. Прошлой зимой это выяснилось. Вот почему такой озабоченной выглядела Наташа, когда её видела Лена. И не в Крыму они были, когда я звонил в день рождения.

Почему он не сообщил мне? Не хотел делиться своей бедой? И что бы могло измениться? Или всё же могло?

Ничего не получилось. От операции он отказался, как его не уговаривали. Он не терпел никакого вмешательства, не верил врачам, боялся боли. Ну да, это понятно... Искал исцеления каким-то другим путём. Кончилось всё поездкой в Америку, для которой пришлось продать дачу и машину. Туда он отправился в сопровождении Наташи и Гали Зубак. Что там они делали и как, какую операцию, Татьяна Михайловна не знает, а только когда он вернулся домой, было это в конце сентября, она поняла, что последняя надежда на чудо исчезла. «Таким измученным он выглядел, – рассказывала она. – Он еле в квартиру вошёл, а ведь уезжал ещё нормальным».

Случилось ещё вот что: сначала умер Дружок, тот самый забавный пудель, любимец бабушки, потом бабушка, а теперь вот... Татьяна Михайловна вздыхала и качала головой. И всё в течение одного только года. Понять это было невозможно.

Я вдруг вспомнил слова Стёпы, которые он сказал за два года до своей смерти. Был летний вечер, мы стояли во дворе его дома – только что вышли из подъезда. Говорили, прощаясь, о разном. О возрасте, о родителях. «Как бабушка?» – спросил я. Она тогда болела, всё же девяносто лет ей уже было. Стёпа что-то такое общее мне ответил, употребив выражение «неизбежность» и добавив «ничего не поделаешь», а потом прозвучала вот эта фраза: «Поскорее бы всё это закончилось». Возможно, я что-то пропустил, напутал или не так его понял. Иногда такое случается, когда чужим словам придаёшь совсем другой смысл, нежели в них содержится на самом деле. Его слова могли относиться совсем к другим вещам. Но что он имел в виду?

Наташу в тот день мы так и не увидели; она занималась организацией похорон, которые состоялись через день.

Я был один. Лена со мной не пошла и, наверное, правильно сделала, ей было бы тяжело за всем этим наблюдать. Пришли Костя с Катей и Ира, Пётр находился в отъезде. Было много цветов, венков и незнакомых мне людей, которые были как-то связаны со Стёпой. Были даже знаменитые ребята-гребцы, про которых последнее время восторженно рассказывала мне Наташа, – что-то вроде компаньонов Стёпы по его делам со складскими помещениями, по сахару и бензину, группа спортсменов, то ли байдарочников, то ли каноистов, сумевших своим умом преуспеть в жизни. Вот только «людей из Москвы» не было, и существовали ли они на самом деле?

На кладбище, когда опускали гроб, пошёл мелкий противный дождь. Наташа запричитала у края могилы: «Что же это делают? Как же это? Его же закапывают!» Это было похоже на истерику. Показалось, вот-вот и она спрыгнет вниз. Я стоял в стороне, под соснами, рядом с заплаканной Татьяной Михайловной и понурым Николаем Ивановичем, отцом Стёпы. Меня окликнул чей-то голос сзади. Я обернулся и узнал Галю Зубак, Наташину подругу. Стоя боком ко мне, в широком и длинном вишнёвом плаще, ещё более монументальная, чем прежде, она словно скомандовала: «Иди, успокой её». По выражению её лица можно было понять, как невыносимо ей это слышать.

Я послушно прошагал к Наташе, обнял её и, кажется, вовремя: она уже пошатнулась. Меня вдруг охватила дрожь, наверное, из-за холода и дождя. Я стоял с непокрытой головой и крепко держал фигурку в чёрном пальто, – упираясь, Наташа тоже дрожала и пыталась вырваться.

Со стороны эта борьба должна была выглядеть странной. Нас двое в центре небольшой поляны, все остальные зрители небольшими группами расположились на неровностях земли под соснами. Самая многочисленная из них – ребята-гребцы, укрытые зонтами. Они молча смотрели на нас. Что они думали, люди, которые имели со Стёпой какие-то важные дела и виделись с ним каждый день «на работе»? Что вообще все подумали? Кто я такой? Откуда взялся? Мне и самому уже было неловко. Но вот посыпались первые комья земли на крышку гроба – заработали лопаты; люди стали подходить, и всё закончилось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.